

12
9 3

ДЕНИ ГРОЗДАНОВИЧ

ИСКУССТВО ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ

Позже — значит сейчас!

Счастливые мы больше, чем нам это кажется?

Есть ли у белок совесть?

Мужество пытать по воле воли

Спящий в толпе

Мечты сквозь красного дивана

текст

ЧТЕНИЕ КНИГИ ФРАНЦУЗСКОГО ПИСАТЕЛЯ ДЕНИ ГРОЗДАНОВИЧА
ПОДОБНО ПУТЕШЕСТВИЮ, ПОЛНОМУ НЕОЖИДАННОСТЕЙ
И ОТКРЫТИЙ. НО НЕ СПРАШИВАЙТЕ АВТОРА, КАКОВА ЕГО ЦЕЛЬ,
ОН РЕЗОННО ОТВЕТИТ, ЧТО ИСТИННЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ РАДИ УДОВОЛЬСТВИЯ ИДТИ ВПЕРЕД,
А НЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ КУДА-ТО ДОЙТИ. ЭТА КНИГА – СОБРАНИЕ
ИЗУМИТЕЛЬНО РАЗНООБРАЗНЫХ СЮЖЕТОВ, СВЯЗАННЫХ ЕДИНОЙ
НИТЬЮ, А ИМЕННО ЖЕЛАНИЕМ УЛОВИТЬ ПОЭЗИЮ НАСТОЯЩЕЙ
МИНУТЫ, «ХОТЯ БЫ РАЗ В ДЕНЬ НА МГНОВЕНИЕ ПРИОБЩИТЬСЯ
К УСКОЛЬЗАЮЩЕЙ ВЕЧНОСТИ».

9 785751 611491

Avec le soutien du
CNL
Centre national du livre

Denis Grozdanovitch

Дени Грозданович

L'ART DIFFICILE DE NE
PRESQUE RIEN FAIRE

ИСКУССТВО ПОЧТИ
НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ

*Перевод с французского
Оксаны Чураковой*

DENOËL

МОСКВА «ТЕКСТ» 2013

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фр)
Г86

Содержание

Оформление А.В. Хохловой

ISBN 978-5-7516-1149-1

© Éditions Denoël, 2009

© «Текст», издание на русском языке, 2013

<i>Симон Лейс. Предисловие</i>	11
<i>Почти ничего в качестве вступления.....</i>	15
<i>Счастливы ли мы больше, чем нам это кажется?....</i>	18
<i>Трудное искусство почти ничего не делать.....</i>	21
<i>Очень дотошный дурак</i>	36
<i>Бумажный бункер</i>	41
<i>Кружок герметических поэтов</i>	44
<i>Синдром Алисы.....</i>	47
<i>Всегда ли у любви будет горько-сладкий вкус?.....</i>	51
<i>Магия нескромности.....</i>	54
<i>Панический трепет в стенах академии.....</i>	57
<i>Светская евангелизация</i>	60
<i>Отголоски живого мира</i>	64
<i>За стихи бутерброда не жалко, верно?</i>	68
<i>Спортсмены и призраки Булонского леса.....</i>	71
<i>Варварство в центре города</i>	75
<i>Погибающая планета.....</i>	79
<i>Даниель, пляжный уборщик</i>	82
<i>2020.....</i>	85
<i>Все в порядке!.....</i>	91
<i>Есть ли у белок совесть?</i>	93
<i>Прислушиваясь к радиомудрости.....</i>	95
<i>С ясностью нарастает холод</i>	105
<i>Иначе туда не попадешь!.....</i>	109
<i>Как жаль, что мир не состоит из шестидесяти четырех клеток!</i>	111

Профессор Лоренц играет в «гуська».....	114
Чарующий призрак свободы	118
Песенка о счастье, или Возможная глубина поверхностного.....	122
Позже — значит сейчас!	128
Искусство предоставить себя обстоятельствам, или Мужество плыть по воле волн	131
Старое времечко	137
Да здравствует французский снобизм.....	141
Все новое — хорошо забытое старое	145
Что такое дурак из Парижа?.....	150
Париж — провинция: отголоски якобинской ненависти?.....	153
Полуденный отдых	158
Мечты около красного дивана	161
Тибетец на олимпийском марафоне	166
Пекин: оборотная сторона.....	172
Виртуальный мир.....	176
Крестьянин и изгнанники постмодерна	179
Конечная цель искусства!	184
Трещина.....	188
Мечта Гюльбенкяна.....	193
Была ли Симона де Бовуар жертвой моды?	199
Сартр, боваризм и кружевная салфетка	202
Под действием святого духа эстетики	206
Собачья боль.....	209
Жизнь или кошелек!.....	212

**ЧЕТЫРЕ НЕДОУМЕННЫХ ДНЯ
В ЛОНЕ СПОРТИВНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСТВА**

Некий дискомфорт.....	223
Вид на грани исчезновения	227
Лагеря детей боксеров	231
Спящий в толпе	235

**ТРИ ВЕЛИКИХ МЕЧТАТЕЛЯ
(АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ, ТОМАС БЕРНХАРД,
РЕМИ ДЕ ГУРМОН)**

Двусмысленность и могущество мечты у Антона Павловича	241
Тоскующий кукловод	253
Шорох шагов по умершим душам	264

Истинный метод состоит в том,
чтобы не делать ничего необычного.

Чтобы огонь развести,
Довольно мне листьев сухих,
Что ветер сумел нанести.

Дао-синь (579–651)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мне нужно так много времени на безделье, что для работы его не остается совсем.

Пьер Реверди

Когда Сен-Поль Ру* уходил спать, он вешал на дверь спальни табличку с предупреждением «Поэт работает». Дени Грозданович вполне мог бы повесить такую же на гамак, где он проводит свои плодотворные сиесты.

К слову об этом, спросим себя: за что поэты так любят кошек?

Кошки большую часть жизни спят и почти всегда видят сны (факт, научно установленный в лабораторных условиях с помощью электродов). Это объясняет, почему, в отличие, например, от кроликов или морских свинок — неспособных сомкнуть глаз больше чем на три минуты, жалких невротиков, которых то и дело бьет дрожь, — кошки наделены потрясающей уравновешенностью: они всегда приземляются на четыре лапы; они грациозны во время отдыха, молниеносны в охоте, а их рефлексы поражают точностью и быстротой. В каком-то смысле эта двойная способность к действию и созерцанию роднит их не только с поэтами, но и с чемпионами по теннису. (Прошу отметить, что эти сведения по психофизиологии домашних представителей семейства кошачьих я обнаружил в одном из собраний дневников Клода

* Сен-Поль Ру (1861—1940) — французский писатель и поэт-символист. (Здесь и далее, если не указано иное, примеч. переводчика.)

Руя — поэта и друга, под эгидой которого развивалась моя эпистолярная дружба с Дени Гроздановичем, — а потому мне показалось вполне уместным упомянуть здесь об этих записках, которые дороги нам обоим.)

Мы живем в варварскую эпоху. Деградация языка служит тому печальным примером. Взглядите хотя бы на то, как понятия «отдых» и «развлечения» — будучи изначально синонимами дыхания и свободы — в конце концов приобрели значение чего-то мрачного и даже стали объектами отдельной индустрии. Книги Гроздановича служат отрадным противоядием от таких извращений, да и вообще вписываются в замечательную традицию. Еще более века назад Роберт Льюис Стивенсон в своем «Извинении за лентяев» объяснял буйную жажду деятельности «людей занятых» недостатком жизненных сил: «Это живые мертвцы, которые могут ощутить жизнь, только выполняя какие-нибудь жалкие обязанности по службе». В свою очередь только «люди праздные» способны отдаваться случайному вдохновению; они с наслаждением используют свои способности просто так, в то время как «люди занятые» лишены любопытства, ибо неспособны лениться: «Для этого их натура недостаточно великодушна».

Наш современник, Александр Виалатт*, склонялся к похожему выводу, что в конечном счете только «потерянное время» использовалось с наибольшей отдачей: «Один великий профессор Высшей нормальной школы говорил ученикам: “Читайте, но читайте что попадется, без всякой системы. Это единственное средство напитать свой разум”. Было ли время потеряно или выиграно, узнать можно лишь позднее. Что было бы с нами, если бы не потерянное время? Ньютоноvo яблоко — результат потерянного времени. Именно потерянное время изобретает и создает.

* Александр Виалатт (1901–1971) — французский писатель и журналист.

И существуют две литературы: потерянного времени, которая подарила нам Дон Кихота, и литература времени, потраченного с пользой, породившая Понсона дю Террайля. Та, что относится к времени потерянному, является наилучшей. Потерянное время окупается через столетие».

По моему мнению, Грозданович — лучший из учеников этого придуманного Виалаттом профессора. Богатое и поразительное разнообразие прочитанных им книг (и замечательная привычка, в которую он их превратил) — достаточное тому свидетельство. Здесь я предложил лишь небольшой комментарий к одной-единственной теме — той, что подсказала заглавие книги, — но произведение в целом представляет собой собрание изумительно разнообразных сюжетов. Все эти эссе связывает единая нить — желание уловить поэзию настоящей минуты, «хотя бы раз в день на мгновение приобщиться к ускользающей вечности».

Чтение такой книги подобно путешествию, полному неожиданностей и открытий. Но не спрашивайте автора, какова его цель, он резонно ответит, что истинный путешественник отправляется в путь ради удовольствия идти вперед, а не за тем, чтобы куда-то дойти. И вслед за этим, поскольку автор сам довольно часто (и с достаточным основанием) ссылается на китайских мыслителей и поэтов, не будет странным, если я в свою очередь вспомню знаменитый пример эксцентричного ученого мужа, жившего в период Шести династий, Вана Хуэй-чжи. История из сборника V века «Новые забавные случаи и разговоры столетия», глава XXIII «Непринужденность и инакомыслие»: как-то вечером, после нежданного снегопада, увидев в окно сияющую белизну, укрывшую ночную деревню, Ван тут же решил сесть в лодку и навестить своего друга Тая, жившего дальше по берегу канала. После сказочной ночи и плавания меж заснеженных берегов при свете луны, когда он, наконец, достиг своей цели, вместо того чтобы сойти на

берег и постучать в дверь друга, он велел лодочнику повернуть назад. Когда тот удивился такой перемене, Ван ответил: «Меня влекло сюда вдохновение. Теперь же, когда оно удовлетворено, я могу возвращаться. К чему будить Тая?»

Симон Лейс

ПОЧТИ НИЧЕГО В КАЧЕСТВЕ ВСТУПЛЕНИЯ

В молодости в течение примерно двух лет я посещал Сорbonну, где слушал лекции по философии, которые читал Владимир Янкелевич. В нем меня восхищало нечто и почти ничего его профессорских речей, слушая которые, мне то и дело приходилось душить безудержные приступы смеха, отчего я не мог понять, нарочно он это делает или нет, говорили он серьезно или с беспримерным чувством юмора без конца пародирует самого себя. Чудом было то, как он мастерски балансировал между тонкостью какой-нибудь очень проницательной мысли на злобу дня и постоянным ее отрицанием в дальнейших комментариях (зачастую более или менее поспешных), словно любое высказанное суждение требовалось тотчас опровергнуть обратной саркастической гипотезой. Склад ума в высшей степени парадоксальный, необычайно склонный к шутке и чуждый догм, чьим неподражаемым «коронным номером» было создавать видимость — путем почти насилиственных упражнений в самоиронии — постоянного разлада с самим собой.

Впоследствии я осознал, что, как и у великих комиков, эта способность вырабатывалась благодаря более или менее неосознанной тактике, состоящей в том, чтобы «почти ничего не делать», а только покорно следовать врожденному дару непроизвольно говорить смешные вещи. Впрочем, как всем нам из-

вестно, именно у тех, кто избрал своим ремеслом смешить и восхищать людей, очень редко это по-настоящему получается.

Мне бы хотелось, чтобы те несколько историй, которые предлагаются здесь, — взятые частично из журнальных статей или эссе, а также из блога, который я веду на сайте газеты «Либерасьон», и все в значительной степени переработанные*, — были представлены в той же непринужденной и решительной манере «почти ничего», как в том, что касается характерных деталей (без которых, на мой взгляд, любой литературный опыт лишен всякого воздействия), так и в плане общих идей, порой немного воинственных, не поддержать которые я не мог, — хочу уточнить, иной раз я позволял себе это с единственной главной целью «поучаствовать», отвечая таким образом (в ту пору моей жизни, когда приходится поумерить свои забавы в лоне братских любительских состязаний) желаниям досточтимого барона де Кубертена. Участвовать при случае в движении бурлящего мира, чей бег уже определенно стал для меня чересчур стремителен, но за чьим развитием (неизбежно плетясь позади, задыхаясь и не понимая, но как справедливо заметил сценарист Мишель Одиар: «Если [почти] нечего сказать, это еще не повод заткнуться!») я еще надеюсь наблюдать, вставляя по ходу множество замечаний, которые обязательно поразят вас — если хватит терпения дочитать до конца эту книгу — своей актуальностью и прозорливостью.

Таким образом, я надеюсь, что читатель сумеет уместить мои порывы и возможную задиристую ненадежность в более общую канву этой захватыва-

* За исключением нескольких ранее не издававшихся.
(Примеч. автора.)

ющей игры, которой остается для нас жизнь — кипучая, противоречивая и чарующая, — пока мы еще способны изъясняться более-менее внятно, прежде чем впасть в неизбежную бессмысленную старческую болтливость и доказательством от противного удостовериться в истинности древнего предсторожения римского поэта Горация (цитированного Монтенем): не принимай себя слишком всерьез, а не то не успеешь глазом моргнуть, как «молодость со смехом вышвырнет тебя вон»...

СЧАСТЛИВЫ ЛИ МЫ БОЛЬШЕ, ЧЕМ НАМ ЭТО КАЖЕТСЯ?

Был август, отец будил меня еще до рассвета, и мы, собрав рыболовные снасти и уложив в рюкзаки посуду и все необходимое для пикника, с удочками в руках шагали по спящей деревне в предрассветном тумане, предвещавшем изнуряющий полуденный зной. Мы шли прямиком к булочной, стучались в заднюю дверь, и булочник в майке, вечно заспанный, но неизменно любезный, пускал нас в свое обиталище, где пахло горячим хлебом. Держа деревянную лопату в худых руках, он доставал из печи круассаны, запах которых — в те далекие годы, когда мне было двенадцать, — казался мне поистине божественным!

Пока круассаны остывали, отец перекидывался с булочником парой слов, а потом мы вновь отправлялись навстречу заре по дороге между рекой и каналом, в тишине наслаждаясь этим хрустящим и тающим чудом, вкус которого был для меня воплощением розово-голубых отблесков нового дня, встающего над деревней, которая, казалось, неторопливо стряхивала вековечный сон тихого растительного счастья.

Мы преодолевали множество проволочных оград, которые как следует закрывали за собой, шагали мимо стада коров, недоуменно глядевших на столь ранних прохожих, и, наконец, добирались до любимого рыбного mestечка отца.

Там мы раскладывали свое снаряжение: крючки, грузила и лески, глубиномер, садок, сак, зевник, ножи, ножницы и все остальное. Ставили на берегу складные стулья, бросали щедрый прикорм из конопляной каши и вареной пшеницы и, наживив на крючок навозного червя или опарыша, закидывали удочки в неторопливый поток тихой заводи. И вот в тишине, под колыхание ветвей ольхи и ивы, начинался наш долгий сон наяву, а ничтожной, но завораживающей мандалой становился этот невозмутимый — трансцендентальный — раскрашенный пробковый поплавок, чье малейшее подергивание тут же возвращало нас в реальную жизнь. И тогда за долю секунды нужно было отличить быстрые и мелкие рывки от других, более плавных, когда злосчастное грузило касалось дна, хотя и тут еще требовалась ловкость, чтоб распознать вялую крупную рыбу (как линь или голавль), заявлявшую о себе таким же долгим неторопливым потягиванием.

Наконец к полудню (крупную рыбу — которую предстояло чистить и потрошить — мы оставляли на ужин) у нас уже было достаточно мелочи на жарёнку, и отец приступал к готовке: вынимал из сумки складную сковородку, бутылочку масла, аккуратно складывал камни для очага и доставал из реки бутылку сидра, которую клал туда охладиться. Я в это время должен был собрать хворост. Затем отец разводил костер, ждал, пока останутся угли,ставил на них сковородку с маслом и бросал туда мальков, пескарей и уклеек размером не больше ломтика жареной картошки; потом добавлял (вынутые из сумки) помидоры, лук, соль, перец, немного приправы, и, когда блюдо было готово, мы, вприкуску с хлебом и сыром, запивая все прохладным сидром, уминали за обе щеки хрустящую жа-

реную рыбку, вкус которой для меня до сих пор не сравнимся ни с чем!

Очень хорошо помню, что эта простая, но восхитительная еда — которую со временем я уже предвкушал, стоило мне увидеть бьющуюся на крючке рыбку — соединялась в моих мыслях с неспешной ленивой рекой, мягко касавшейся берега у наших ног, на гладь которой мы смотрели не отрываясь, пока сидели под деревом и смаковали приготовленное отцом угощение. И уже тогда, несмотря на свой юный возраст, я понимал, что таким путем отец хотел постепенно привить мне вкус к истинному удовольствию и прелестям этого мира и показать, что достичь их можно с помощью самых простых вещей.

Помню даже, как однажды он, не любивший вообще-то красивых слов, не удержался от искушения увенчать свои уроки фразой, прозвучавшей немного торжественно, но за которой скрывалось крайнее смущение от внезапно охватившего его порыва. Отец произнес слова, которые навсегда запечатлелись в моей душе.

— Знаешь, сынок, зачастую мы гораздо счастливее, чем нам это кажется!

ТРУДНОЕ ИСКУССТВО ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ

Задумайся, могла бы карьера царедворца
Сравниться с вековечным лесом?
С кувшинчиком вина, уютным очагом,
Со счастьем слушать песню ветра
И просто среди бела дня
Спать безмятежным сном.

Чан Лин Вэнь

Я мирно дремал у себя в гамаке в саду баронессы Монти в Тоскане, убаюканный неумолчными переливами птичьих трелей, в надежде урвать несколько сладких минут безделья от порученного мне в этой писательской резиденции задания — написать новый окончательный текст, когда мой сон внезапно был прерван какой-то птицей, которая совершенно беспардонно принялась изображать телефонный звонок... пока до меня не дошло, что это звонит мой мобильный, который я забыл отключить!

Звонили из одного журнала с предложением написать статью о лени...

Польщенный вниманием, да и немного застигнутый врасплох, я не сразу сообразил обговорить условия, а когда повесил трубку и окончательно отошел ото сна, срок исполнения показался мне

чудовищно кратким, так что впредь я решил крепко держать свои порывы в узде.

К счастью, у меня в запасе всегда большой выбор коротеньких небылиц и забавных историй со щекотливыми ситуациями.

Рассказывают, что во время последней войны один американский генерал, теснивший немцев к северу Италии, овладел Венецией, где в ратуше между ним и прежним мэром состоялась передача полномочий. Однако когда бывший глава города кончил приветственную речь, а генерал в свою очередь поблагодарил его, мэр объявил, что подготовил своему преемнику подарок, чрезвычайно полезный для ознакомления с итальянскими делами, и указал на большую красивую гальку, лежавшую у него на столе.

— Видите ли, этот предмет совершенно необходим, и вот как следует его использовать: каждый раз, как получите письмо с пометкой «срочно», кладите на него этот камень и больше к нему не притрагивайтесь. Проверьте моему долгому опыту, дела от этого пойдут только лучше!

В романе Гончарова «Обломов» один отрывок также наводит на размышления. В старую фамильную усадьбу в глубокой провинции, где все (господа и слуги) живут словно в летаргическом сне со своими правилами (здесь нельзя не только торопиться, но и принимать важных решений и учинять малейшие случайности), вдруг приходит письмо, которое рассеянный слуга имел несчастье принять из рук почтальона (за что барыня обозвала его дураком) и посмотреть на которое сбегается весь дом: внимательно изучается почерк, письмо вертят, нюхают, громко читают адрес, взвешивают, разглядывают на просвет и так далее, но никто ни разу не

делает даже намека на то, чтобы его распечатать. Весь дом до того взбудоражен, что досадный предмет решают запереть под замок и больше его не касаться. Однако в последующие дни у всех мысли только о письме, разговоры лишь о том, что там внутри, догадки строятся самые невообразимые. И когда отец семейства в присутствии слуг и родных, собравшихся за столом, героически решает распечатать конверт, обнаруживается, что письмо от дальнего родственника, который спрашивает рецепт пива! Радостное возбуждение тут же сменяет тревогу, каждый с пафосом подыскивает слова для сердечного ответа, написание которого, однако, осмотрительно откладывается на потом, когда для эпистолярных занятий найдется более благоприятный момент. Несколько недель спустя во всем доме воцаряется тишина, ибо папенька наконец решил сесть за ответ на послание, но тут выясняется, что отыскать рецепт не представляется возможным, и все снова откладывается на неопределенное время...

Роберт Бенчли* в своем знаменитом эссе «Как довести до конца то, что нам нужно сделать» делится с нами секретом своего метода:

Многие спрашивали, как мне удается столько работать, сохраняя при этом такой беспечный вид. На что я отвечал: «А вам бы хотелось это узнать, да?» Что само по себе не такой уж плохой ответ, учитывая, что в девяти из десяти случаев я не слушаю вопроса, который мне задают. Однако секрет моей энергии и невероятной трудоспособности со-

* Роберт Бенчли (1889–1945) — американский прозаик, критик, актер.

всем немудрен. Он состоит в применении хорошо известного психологического принципа, чье совершенство я довел до такой степени, что он стал уже чересчур совершенным, и скоро мне придется немного вернуть его к примитивному состоянию, в каковом он пребывал изначально.

Этот принцип гласит: Любой человек может сделать любую работу при условии, что за нее не нужно приниматься сейчас.

Посмотрим, как это выглядит на деле. Допустим, что мне необходимо сделать пять дел до конца недели: 1) ответить на пачку писем, некоторые из которых датированы 28 октября 1928 года; 2) привинтить к стене этажерки и разложить на них книги; 3) сходить в парикмахерскую; 4) просмотреть и вырезать статьи из стопки научных журналов (я собираю всевозможные сведения о тропических рыбах с целью когда-нибудь их завести); 5) написать статью для журнала.

Однако, столкнувшись в понедельник утром с этими грозящими мне пятью обязанностями, неудивительно, что я тут же после завтрака снова ложусь в постель, чтобы набраться побольше сил перед нечеловеческими трудами, которые мне предстоят. *Mens sana in corpore sano** — таков мой девиз.

И далее, как и поясняет писатель, следует изловчиться и убедить себя в том, что самое срочное дело не имеет никакой важности, а уж потом, после того, как карандаши будут аккуратно очищены, книги сложены в алфавитном порядке, письмо далекому кузену, с которым давно утрачена связь, написано, рамы нескольких картин в кабинете обновлены, а парикмахеру нанесен визит, нужная статья напишется словно сама собой.

* В здоровом теле здоровый дух (лат.).

Итак, мне предстояло написать статью о лени, и эта задача сразу показалась мне непреодолимой не только потому, что это звучало парадоксально, но еще и оттого, что писать о том, что свойственно тебе самому, всегда очень затруднительно. Тем более что, как подразумевал Бенчли, настоящие лентяи — те лентяи, которые, как я бы сказал, превратили свою лень в искусство, — в действительности люди очень деятельные, просто им почти невозможно сделать то, о чем их просят. К счастью, однако, вырисовывалась замечательная возможность: случай в данной ситуации уникальный — испытать радость истинного безделья.

Что касается этой темы, в ней я с полным правом считаю себя человеком сведущим. Наставник, который в детстве окунул меня в источник знаний, часто повторял, что он никогда еще не встречал мальчика, способного сделать так мало за такое долгое время; это напоминает мне мою бедную бабушку, которая как-то мимоходом заметила, что я-то уж точно никогда не сделаю больше того, что мне велят, и она даже уверена, что я обязательно сделаю меньше.

Боюсь, я не оправдал пророчества этой пожилой леди. Благодаря небу на самом деле я, несмотря на свою лень, сделал больше, чем должен был.

Лень всегда была моим достоинством. Но я этим отнюдь не хвалюсь, это дар. И дар редкий. Конечно, ленивых и медлительных на свете полно, но настоящий лентяй — большая редкость. И это вовсе не тот, кто весь день слоняется руки в брюки. Напротив, истинный лентяй, как правило, человек очень деятельный. Оценить его лень можно только тогда, когда ему предстоит прорва работы. Не так уж весело ничего не делать, когда делать-то, собственно говоря, и нечего! А вот терять время зря — это на-

стоящее дело, да и притом утомительное. Часы безделья, подобно поцелую, дарят наслаждение, только если они украдены*.

Успокоенный этими рассуждениями, я уж было собрался приступить к исполнению первого пункта программы изобретательного американца — «копить драгоценные силы», как тут Тедди, лабrador баронессы, закатил под гамак мячик, приглашая меня поиграть. Существует лишь одна область, где мне не нужны хитроумные уловки, чтобы приняться за дело, — это игра. Поэтому, тут же спрыгнув на землю, я принялся без устали бросать мячик Тедди (который, кстати сказать, глубоко родственная мне душа еще и потому, что он тоже часами валяется на солнечной террасе, набираясь сил) и веселился, наблюдая, как он, точно опытный спринтер, резко тормозит, чтобы поймать мяч, а из-под его лап во все стороны летят весенние маргаритки.

Старый друг удивляется моему поведению, когда я сначала точно калека ползаю за мячом, а потом беру в руки ракетку и ношу словно одержимый. Однако только в такие минуты мои старания имеют смысл.

Уильям Хэзлитт

Чуть позже, лежа в горячей ванне, которую я себе подготовил, и напряженно размышляя, я не без горечи осознал, как непросто стало бездельничать в нашем мире, который возвел в культ англо-саксонскую протестантскую жажду деятельности: искупление грехов через труд! В самом деле, я не раз убеждался, как трудно, если не сказать невозможно, моим современникам воспринимать

* Джером К. Джером. «Праздные мысли лентяя». (Примеч. автора.)

слова «каникулы» и «отдых» буквально: чтобы в этом убедиться, достаточно понаблюдать, как они с самого рассвета очертя голову стараются развлекаться. И эти так называемые развлечения отныне подчинились священному кredo дохода и продуктивности. Но дело обстоит еще хуже: тому, кто пытался улизнуть от подобного деятельного отдыха, приходилось противостоять такой силе общего энтузиазма, что одолеть ее могла лишь уничтожающая пассивность, лишенная гедонистских радостей лени и подпорченная острым чувством вины.

Когда Венсана спрашивали, на отдыхе ли он, он страшно сердился и краснел. «Отдых, — говорил он, — нужен тем, кто работает. А мне-то он зачем? Я не принадлежу к этому миру, и его обязанности, до которых мне дела нет, вызывают во мне ужас».

Для него ночи и дни были единым целым, которое он распределял по своему усмотрению. Если ему случалось очутиться на Лазурном Берегу тогда же, когда там бывали те, кто остальное время года работал, это делалось им для разнообразия. К чему противоречить нравам своего времени? Это было бы так же глупо, как и подчиняться им — без такого нелепого бунта он вполне обойдется.

Он попросту не работал, только и всего, но это не мешало ему тратить много сил на попытки понять, что творится у него внутри, ибо ему всегда казалось, что от других его отделяет невидимое стекло...

...В правильном обществе будущего никто не помешает Венсану «играть» с приятелями, и никому не придет в голову пенять ему на то, что он не работает. В мире, который скоро будет ввергнут в вихрь индустрии развлечений, подобно драгоценному камню будут ценить лишь того, кто не станет ничего делать...

Остальные несчастные растратят силы на удовольствия*.

По правде сказать, похоже, что уже никто как следует не владеет трудным и изощренным искусством почти ничего не делать. В нас воспитывали благоговейное почтение к чужой воле и непоколебимую веру в благородство тяжких усилий, а потому мы без конца и края ловим себя на чрезмерном усердии. Излишним старанием мы только портили и уничтожали всю прелест своих лучших начинаний; стремясь к совершенству, мы то и дело сбивались с пути; в пылком порыве мы, сами того не замечая, стирали свою цель в порошок. Мы разучились соизмерять и взвешивать свои поступки с точностью и сдержанностью, установленными ходом вещей**. И в итоге неизбежно теряли творческое начало из-за навязчивого страха быть недостаточно продуктивными.

Когда мастер дзен объяснял, что для того, чтобы натянуть тетиву, мало мускульной силы (нужно еще и правильно дышать), но и для того, чтобы поразить цель, не нужно нарочно прицеливаться, его западный ученик озабоченно допытывался: «Как я могу специально этого не хотеть?» На что мастер — следуя чисто дзенской практике устранения надуманных вопросов — говорил, что, к сожалению, не может ответить на этот вопрос, так как никто ему его раньше не задавал.

В теннисе я годами наблюдал, с каким трудом давалось всем нам совмещать механическую точность движения с его красотой, поскольку все мы

* «Мне бы хотелось с вами поиграть», Бостель. (*Примеч. автора.*)

** Понятие столь важное для древних учителей философии чань. (*Примеч. автора.*)

с младых ногтей были приучены к добровольному самоистязанию, и, хотя это умение не требовало тяжелой работы мышц, а только тщательного внимания и верности исполнения, нам отчаянно нужна была боль, как пробный камень наших заслуг. По правде сказать, простое применение точно направленной силы казалось нам слишком легким.

Уинстон Черчилль как-то сказал, что когда ему нужно сесть на поезд, то он приходит на вокзал ни раньше, ни позже, а точно в нужное время: чтобы дать поезду шанс! Думаю, мы могли бы поступать так же по отношению к общему движению мира, чтобы, как в спорте, дать ему шанс ускользнуть от нашего закоренелого и разрушительного догматизма, от яростного захватнического инстинкта человека, мнящего себя центром Вселенной, от нашей ненасытной прометеевой жажды абсолютной власти над природой и населяющими ее существами.

Однажды Конфуций предложил сидевшим вокруг него ученикам, не стесняясь, рассказать, что бы им захотелось совершить, если бы их оценили по достоинству и они могли бы применить свои таланты в полную силу. Чтобы они чувствовали себя свободно, он даже предложил им на минуту забыть — а для учителя в Китае это значительная уступка — о том, что он их старше. Первый ученик тут же уверенно заявил, что, стань он главой какого-нибудь маленького княжества, пусть даже самого захудалого, он за три года сумел бы навести в нем порядок. Другой, более скромный, чувствовал себя в силах за три года только добиться процветания граждан, а заботу об их нравственной чистоте оставлял мудрейшим. Третий, еще более осторожный, довольствовался бы ролью простого служки при древнем храме во время дипломатических встреч. Наконец, четвертый, Дян, когда

очередь дошла до него, тронул напоследок струну цитры, на которой не переставал тихонько наигрывать, и дождался, пока ее звук смолкнет, а дрожание прекратится (по другой версии его рука, замирая, коснулась струн, прозвучали одинокие редкие ноты, и слышалось только затихающее гудение положенной на пол цитры).

Ответ, который он дал, нарушив свое молчание, был совершенно иным:

— На исходе весны, когда весенние одежды будут готовы, я и пять или шесть моих спутников — шесть или семь юношей — купались бы в речке И, наслаждались бы ветром на террасе Танцующих дождей, а после возвратились бы домой с песнями.

И, глубоко вздохнув, учитель ответил:

— Да, я с тобой!

И если бы было позволено повторяться (а я совершенно не понимаю, почему должен запретить себе это простое и доступное всем удовольствие), я мог бы лишь вновь рассказать, как удивили меня повадки ленивца (зверя), о которых я прочел в географическом журнале, и о чем уже говорил в предыдущей книге.

Не имеем ли мы здесь поучительный тысячелетний пример спокойного безразличия к так называемой обязанности позвоночных постоянно приспособливаться, и разве не убедились мы по фильмам, где показывают, как он висит на одной ветке или, не спеша, цепляется за другую — не говоря уж о его случайных и еще более скучных перемещениях по земле, — что этот стойкий противник дарвиновской теории (как, в самом деле, объяснить необыкновенную живучесть этого зверя, так мало приспособленного к священной *struggle for life?*^{*}) никогда не

расстается со счастливой, блаженной улыбкой? И отнюдь не желая повторять опасный эксперимент по изучению свойств мимикрии, которую предпринял тот американский натуралист, сначала изучавший животное в его естественной среде обитания, а потом погрузившийся в полную неподвижность, что разрушило его семейную жизнь, я не могу не признать, что избрал этого крикунна своим тотемом.

(Разве не называют его чрезвычайно упорным в своей медлительности и безразличии, и не следует ли добавить, что, несмотря на то что с первого взгляда он кажется легкой добычей, редкий хищник отважится напасть на него, потому что при нападении у ленивца срабатывает рефлекс и он вцепляется во врага когтями такой мертввой хваткой, что тот, даже убив добычу, не может от нее избавиться и, в конце концов, отягощенный ношей, умирает сам.)

Да, я не только не мог удержаться от восхищения и благоговения перед этой посмертной боеспособностью, но также и понял, что очевидно существует тревожное (и волнующее) сходство характеров между разными видами ленивцев (людей и животных), потому что я, например, с раннего детства всегда инстинктивно надевал маску безразличия, которая не нравилась моим родителям, учителям и моралистам всех мастей, желавшим навязать мне свои принципы — то есть всем тем, кто пытался заставить меня действовать быстрее, чем мне это свойственно*, а потом они сами же не могли отделаться от моих навязчивых вопросов, зачем нужно вести себя по-другому, и это всегда

* Как я уже говорил, я чрезвычайно медлителен, за исключением тех случаев, когда рядом окажется какой-нибудь мячик, и тогда я вскакиваю так, что сам себе удивляюсь... (Примеч. автора.)

* Борьба за жизнь (англ.).

спасало меня, так как они теряли не только терпение, но и всякую способность сопротивляться...*

Вдобавок я недавно прочел небольшое эссе Денизы Левертов** о поэтическом творчестве. В нем говорилось, что поэзия должна рождаться в нас органически, то есть неосознанно, плавно, словно сама собой, и что возникнуть вот так, в счастье и простоте, она могла только тогда, когда мы жаждем и призываем ее долгие дни и часы, особым образом открываясь миру. Не тяжелое и мучительное действие, а скорее длительное и упорное постоянство, сладостная привычка всегда быть готовым воспринимать.

Этот метод «почти ничего» близок, как мне кажется, к тому, что индийские буддисты называли Школой Срединного Пути, который, распространившись в Китае, смешался с элементами даосизма и наконец воплотился в философии чань и принял новую форму, к сожалению торжественную и заключенную в строгие рамки, в японском дзене. Однако китайцам того времени стремление что-то доказывать всегда казалось довольно нелепым. Славные последователи Конфуция и учения Дао — как бы ни разнились эти течения во всем остальном — всегда ценили людей спокойных. Конфуций считал, что быть человечным лучше, чем праведным, а для великих учителей Дао было очевидно, что невозможно быть правым, не будучи одновременно и неправым, ибо эти понятия нераздельны, как лицо и изнанка. Чжуан-цзы говорил:

* И должен добавить, что, по примеру моего любимого тотемного зверя, надеюсь, моя майевтика будет еще долго преследовать их после моей кончины! (Примеч. автора.)

** Дениза Левертов (1923–1997) — американская поэтесса.

Тот, кто мечтает о правлении без беспорядков и о правосудии без произвола, ничего не понимает в устройстве вещей.

Нам, жителям Запада, подобные слова могли бы показаться циничными, а конфуцианское почитание умеренности и компромисса — недостатком принципов и сознания нравственности. И однако, мне казалось, это свидетельствует об истинном понимании и уважении природного равновесия, в человеке или в чем-то другом, так же, как, согласно вселенскому мировоззрению Дао или естественного пути, добро и зло, созидание и разрушение, мудрость и безумие были неразделимыми полюсами жизни. Дао, говорил Чунь Юнь, «это то, отчего жизнь не может отстраниться. То, от чего отстраниться можно, не является Дао». Вот почему мудрость не в том, чтобы силой отделить добро от зла, а в том, чтобы научиться их «совмещать», по примеру поплавка, который повторяет изгибы волны. По сути, Китай считает естественным смешение добра и зла, присущее человеческой натуре, — позиция поистине возмутительная в глазах тех, кому иудейско-христианское воспитание постоянно внушает, что совесть его нечиста.

О, эта страшная нечистая совесть, которая, словно насмехаясь, заставила бы меня вылезти из ванной, чтобы взяться за дело и перенести на бумагу мои разглагольствования о лени!. Как верный последователь учения Дао я все же решил пойти обходным путем и дать себе еще немного времени, чтобы собраться с мыслями, для того чтобы потом привести их в порядок. Это заняло больше времени, чем было намечено, и когда я вышел из ванны, то почувствовал, что пора бы немножечко подкрепиться. Дойдя до кухни, я принялся готовить чай,

прибавив к нему приличный кусок *zuppa inglese**. Я всегда считал, что увесистое пирожное с кремом, как я люблю, служит прекрасной подготовкой к тяжелой работе: избавляет от лишних нервов и перевозбуждения. Ведь нам, работникам умственного труда, нужно сохранять хладнокровие, а иначе мы начинаем распыляться и без толку тратить силы.

Тут-то мне и вспомнилась книга немецкого философа Слотердайка, который — в типично немецком, совершенно успокоительном духе — говорил что-то прекрасно подходящее к теме и что я наверняка мог бы добавить к моим ленивым рассуждениям. Поэтому, отхлебывая чай и наслаждаясь аппетитным пирожным (которое я то и дело с отточенной грацией макал в чашку), я рассеянно листал свой блокнот с цитатами, пока не наткнулся на искомый отрывок:

...противопоставить активистскому этосу самоутверждения модель самодостаточного индивидуума, способного сократить свои требования до строгого «естественного» минимума, не желать ничего сверх того, что уже имеет, подчинить себя дисциплине достаточно радикальной, чтобы избежать ловушек неудовлетворенных желаний, и достаточно непосредственной, дабы не порождать малейшей фruстрации, относиться к реальности без агрессии и насилия, заменить буйную жажду активного вмешательства свободным временем и не бояться самоустраниния...

Да, это прекрасно мне подходило, и я часто думал, что нужно действительно проявлять некоторое

* *Zuppa inglese* (*и.т.*) — итальянский десерт, бисквит с ванильным кремом.

мужество, в общем-то довольно редкое, чтобы «почти ничего не делать», чтобы противостоять своему активистскому предубеждению, чтобы не давать себе во что бы то ни стало вмешиваться (особенно во всякие запутанные истории, когда наше неуемное чувство справедливости, желающее проявить себя любой ценой, приводит к подспудным, невидимым глазу катастрофам), потому что, будучи достойными детьми первородного греха, мы устроены так, что навлекаем на себя всевозможные горести, предаваясь таинственной и неизбежной игре природных противоречий.

А потому я отныне решил посвятить себя доктрине Срединного Пути и, накопив драгоценные силы, позволить руке гулять по бумаге, следя лишь за тем, чтобы, согласно разумному примеру китайцев, мои разглагольствования не слишком удалялись от «бесцветной спасительной середины».

После чрезмерного напряжения от таких глубоких размышлений я решил, что имею право слегка отдохнуть на софе в гостиной. И вот, когда я в полудреме поздравлял себя с тем, что на сегодня мне легко удалось поладить с безнадежно запутанным положением вещей... мне очень кстати припомнились несколько строк Песоа*:

Каждую вещь снег укрыл тишины покрывалом
слышно лишь то, что творится в доме.
Я заворачиваюсь в одеяло и даже не думаю
думать
я чувствую животное счастье и думаю только
слегка,
и засыпаю так бесполезно, как и все в этом мире.

* Фернанду Песоа (1888—1935) — португальский поэт, прозаик и драматург.

ОЧЕНЬ ДОТОШНЫЙ ДУРАК

Безнадежно пытаться рассуждать обо всем на свете — о современной жизни и литературе, о спорте вообще и теннисе в частности, о людских нравах и милейших животных, а также о разных нелепых происшествиях, короче, скакать с одного на другое, отчего я в этих записках не могу удержаться — что свойственно, я полагаю, многим среди нас, — всего лишь способ подражать ритму жизни, такой, какова она есть, а также косвенно затрагивать вопросы философского и политического характера.

В моем случае, как читатель наверняка догадается, это еще и завуалированный способ поговорить о том, что можно назвать стилистикой. Действительно, я всегда считал, что манера и образ самых незначительных действий, тон и слова, выбранные для выражения тех или иных мыслей или чувств, средства, использованные для «свершения» чего бы то ни было, помогают распознать душу людей и вещей.

Коротко говоря, форма есть воплощение вышедшей на свет внутренней сути.

Потому-то, поставив перед собой цель — а для чего же еще мы пишем? — обрести новых друзей (а также врагов, это неизбежно), мне бы хотелось следовать на этих страницах тем же путем, на который я уже незаметно вступил и который привел бы меня — благодаря известным склонностям моего характера — к беспорядочным разглагольствованиям о предметах настоящего, только на этот раз в довольно устаревшей манере, свойственной, по выражению поэта Леона-Поля Фарга*, неугомонному призраку Запада, которым, по-моему, я и являюсь на самом деле. То есть рассуждения некоего субъекта, внезапно возникшего из прошлого в настоящем и смотрящего на все через призму менталитета абсолютно несовременного, словом — удивленного, а то и растерянного поворотом событий. И при этом, ни разу слишком не удаляясь от славного common sense**, привитого мне еще в раннем детстве англо-саксонской и нормандской ветью моей родни.

Книга, ныне забытая, написанная Реми де Гурмоном*** — автором, который теперь тоже забыт, называется «Разговор дилетантов о приметах времени». В ней на сцену выводятся двое собеседников (г-н Демезон и г-н Деларю — один выступает в роли болтуна, другой — пламенного и неутомимого повторятеля расхожих истин), которые только и делают, что забавно, по-дилетантски и совершенно не тривиально обсуждают все, что творится вокруг.

Попытаюсь подыграть своей неуемной болтливости в том же духе.

Д е м е з о н . Забившись в нору, как дикие звери, как большинство художников, писателей и дилетантов, мы подглядываем в щелку за спектаклем жизни и выискиваем у актеров несовершенств. Но если бы все жили в норах, никакой комедии бы не случилось, и было бы очень скучно. Мы чересчур привередничаем.

* Леон-Поль Фарг (1876–1947) — французский поэт и прозаик из круга символистов.

** Здравый смысл (англ.).

*** Реми де Гурмон (1858–1915) — французский писатель, эссеист, художественный критик.

Д е л а р ю. Возможно, но не в наших интересах проявлять снисхождение, не нам же делить выручку.

Д е м е з о н. Как раз этого нам и недостает. Нам следовало бы высказаться определенно. Кто знает? Глядишь, и наше бы сердце дрогнуло при виде того, сколько наших подалось в разбойники!

Один из читателей недавно прислал мне следующую цитату, что так прекрасно вписывается в тему, к которой я постоянно обращаюсь, а именно: взаимосвязь — и довольно тесная, на мой взгляд, — между стилем литературным и стилем спортивным, что я непременно поместил бы ее на видном месте своей книги «Точность двигательной и духовной механики», если бы мне посчастливилось наткнуться на нее раньше.

Есть у меня мыслишка насчет того, что значит быть живым. Это единственное, что меня всерьез занимает. Это и теннис. Однажды я надеюсь написать большую философскую книгу о теннисе. Что-нибудь наподобие «Смерти после полудня». Но я понимаю, что такой труд мне пока еще не под силу. Я думаю, что, если в теннис будут играть все народы земли, это очень поможет уничтожить различия, предрассудки, расовую ненависть и т. д. Вот отработаю, как следует, удар справа и свечку и начну делать наброски этого большого произведения.

(Людям утонченным может показаться, что я пытаюсь смеяться над Хемингуэем. Вовсе нет. «Смерть после полудня» — прекрасная, добротная проза. О философском ее содержании я никогда не скажу худого. По-моему, философия там гораздо мудрее, чем у многих маститых профессоров. Даже когда

Хемингуэй дурак, он, по крайней мере, очень до-тощий дурак. Он огромен. Для литературы это в некотором роде прогресс — рассуждать в свое удовольствие о природе и значении вещей, чей век очень краток.)

Уильям Сароян. «Отважный юноша на трапеции»

«Рассуждать в свое удовольствие о природе и значении вещей, чей век очень краток» — вот что во все времена, даже раньше, чем я сам это осознал, являлось моим литературным замыслом, а еще для меня это так или иначе всегда было связано с почти навязчивой идеей о том, как бы поточней ударить по мячу во время игры с ракеткой. И еще я думаю, что довольно часто кажусь дураком или неуклюжим увальнем, который упрямо гоняется за точностью (чей век очень краток) траектории удара слева или слова, отмеченного здравым смыслом. Ясность и точность почти мистического порядка всегда казались мне истинной целью любых упражнений без всякой связи с победой или проигрышем.

В действительности всегда может случиться так, что как бы точно вы ни ударили по мячу и какую бы хитроумную тактику не применили, партия не удается, потому что соперник сильнее вас. Или у вас получилось найти очень верное описание, а читатель на мгновение отвлекся, и ваши слова были встречены равнодушно. Стоит ли переживать! Ведь в том, что касается лично вас, вы преуспели, потому что добились исполнения своих желаний: попасть мячом в самый край площадки или найти слова, яснее других выражющие ваши сокровенные чувства.

На этом этапе я не могу удержаться и не закончить последней цитатой другого писателя-спорт-

смена, Жана Прево*, так замечательно написавшего в книге «Спортивные удовольствия», которую я не рискую перехвалить:

Чтобы сотворить нечто прекрасное, необходимо сосредоточиться не на предмете, а исключительно на себе самом. Что касается остального, этот метод самый верный, потому что, если даже ваши творения оказались несовершенны или не снискали признания при вашей жизни, они все равно сделали вас лучше.

БУМАЖНЫЙ БУНКЕР

Если и существует что-то, чего я, наверное, должен стыдиться, то это, конечно, мое неутолимое желание — увы! — вести более-менее безмятежную жизнь в беспокойном Париже, который (как нам постоянно твердят) сегодня переживает «непреходящий кризис» — а именно период застоя, то есть в то самое время, когда, боюсь, мои современники работают не покладая рук, дабы достичь уровня жизни в соответствии с их представлением о роскоши или жить в согласии с собственной совестью, и при случае терпят страдания во имя лучшего мирового порядка, справедливости, экономической стабильности, и, по их словам (есть ли у меня причины не доверять им?), в конце концов — ради мира лучшего во всех отношениях.

Дело в том, что после утренних попыток обеспечить свое существование, поскольку моим главным сокровищем остается бесценный запас свободного времени, я никогда не пропускаю ежедневных тренировок по игре в короткий мяч (пытаясь во что бы то ни стало сохранить свой статус среди редких чудаков, помешанных на этой игре, в которую еще играют во дворе восстановленного монастыря, по адресу 74 В на улице Лористон, поклонникам принять к сведению!), потом остаток дня брошу среди букинистов на набережной Сены или по любимым книжным, а затем, если погода хорошая, направляясь к креслам возле оранжереи Люксембургского сада, где, стараясь не замечать насмешливых взгля-

* Жан Прево (1901–1944) — французский писатель и журналист.

дов моих закадычных партнеров по шахматам (которые продолжают считать мою страсть к чтению просто причудой и которые всякий раз уверены, что наконец-то им удалось состряпать достойную защиту против моего устрашающего дебюта Бёрда — Ларсена), я разглядываю свои дневные трофеи: любуюсь выцветшей обложкой, старым типографским шрифтом и вдыхаю непередаваемый запах прошлого, который от них исходит...

В такие минуты я забываю о необходимой, политически корректной угрюмости, и мое блаженство (другого слова не подберешь) усиливается, сопровожданное и вдохновляемое шепотом дружественных теней моих предшественников и собратьев по неистребимой тяге к учености, моих порочных друзей по книжной вседозволенности, которые в свое время, так же как я, бродили в мечтах по тем же аллеям и, судя по их книгам, столь же возмутительно беззаботно взирали на сложности этого мира: Валери Ларбо, Леон-Поль Фарг, Шарль-Альбер Сангрия, Реми де Гурмон, Шарль дю Бос, Андре Моруа, Анатоль Франс, Жорж Лембур, Жан Фоллен*, и среди них самый дорогой моему сердцу, мой духовный учитель Блез Сандрап, который, описывая неровную походку закоренелых читателей-мечтателей, каковыми мы все являемся, говорил:

...нетвердый шаг, свойственный любому читателю, хотя бы на малость уступившему своей страсти, как будто между артериальной воронкой и гипофизом у него фарш из мелко нарубленных книг, отчего мозго-

* Валери Ларбо (1881—1957) — французский писатель, зачинатель «космополитического» течения в современной французской литературе; Шарль дю Бос (1882—1839) — французский писатель, критик и эссеист; Жорж Лембур (1900—1970) — французский писатель; Жан Фоллен (1903—1971) — французский поэт.

ые извилины зудят как от миллиарда красных муравьев, ибо редко кто из людей настолько вынослив, что способен подобно картиадам, не сгибаясь, держащим на голове огромный изящный балкон, выдержать вес целой библиотеки.

Ну а в плохую погоду? — спросите меня вы.

Вы наверняка легко догадаетесь, что со временем я, как и мои сородичи, обзавелся собственным книжным логовом, пещерой, криптой-читальней, стены которой плотно уставлены книгами, где я до вечера наслаждаюсь драгоценными мгновениями, избавленный от механического бега времени, в волшебном единении с тем, что заменяет мне вечность...

И все-таки должен признать, что кропотливое создание этого настоящего бумажного бункера не совсем лишено практического и стратегического смысла. Один друг из Лозанны — а поскольку он швейцарец, то сомневаться в его компетентности по данному вопросу не приходится — меня торжественно уверил, что стены с книгами, плотно стоящими и правильно расставленными (на этом швейцарском условии он особенно настаивал), служат не только прекрасной изоляцией звука, тепла и, конечно, мыслей, но и, кроме того, надежной защитой на случай атомного взрыва — по его расчетам полтора часа выживания обеспечено.

Я подсчитал: этого времени достаточно для прочтения примерно одной главы «Анатомии меланхолии» Роберта Бёртона, нового сборника поэм Уильяма Клиффа или же новой книжечки Жака Реда или Пьера Мишона*.

О большем я не прошу.

* Уильям Клифф (р. 1940) — бельгийский франкоязычный поэт; Жак Реда (р. 1929) — французский поэт; Пьер Мишон (р. 1945) — французский поэт.

КРУЖОК ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ПОЭТОВ

В апреле, будучи проездом в славном городе Р., я был приглашен на встречу с почетным гостем фестиваля «Весна поэтов», китайцем по имени Цзян Ван Кунь. И хотя теперь я, как правило, стараюсь усмирять свои душевные порывы, радущие председателя местного кружка покорило меня, и я согласился.

На следующий день мне удалось занять одно из последних свободных мест среди перешептывающихся зрителей, с благоговением ожидавших начала «мессы». Через несколько минут атлетически сложенный юноша с внешностью первого любовника тайваньского кино новой волны, с длинными волосами, перевязанными лентой, в облегающих черных кожаных брюках, в солнечных очках на носу (вероятно, для того, чтобы защитить свои чувствительные глаза от возможной несвоевременной вспышки вдохновения, чего любому поэту стоит остерегаться!) вышел на сцену и поприветствовал толпу — по которой пробежал трепет — церемонным дальневосточным поклоном. За ним тенью следовала переводчица — университетская мышка с походкой смиренной весталки, посвятившей себя сиятельнейшему Мэтру. После того как они уселись рядом и поэт состроил любезно-отстраненное выражение, переводчица начала слабым голоском учительницы катехизиса говорить о жизни и заслугах Мэтра, а в конце объявила, что наш гость — из

уважения к духовным истокам — прочтет каждое стихотворение на китайском, а она тут же вслед за этим зачитает свои попытки перевода. Приглушенный шепот восхищения пробежал по собранию, затем поэт встал и принял издавать хриплые горланные звуки, громким эхом отражавшиеся от сводов средневекового монастыря, все это вкупе с впечатляющими телодвижениями мастера тайци-чиань. Завершив выступление великолепным жестом тысячелетней выдержанности, поэт с блестящими глазами уселся на место, а переводчица встала и проникновенным голосом начала читать свой скромный перевод творчества Мэтра. Редко выпадает случай, когда выражение так буквально передает смысл, что я не удержался от искушения и про себя заметил (неглубокая мысль, признаю), что для меня перевод остался все той же китайской грамотой.

Собрание, после краткой задумчивой отрешенности, взорвалось аплодисментами, а я в который раз почувствовал себя дураком, не успевающим за развитием современного мира: все эти люди делили между собой счастье, которого я был лишен. Я сидел и сокрушался об этом, как вдруг меня заметил председатель и, невзирая на мои отчаянные протесты, настоял, чтобы я вышел и высказался о поэзии в широком смысле.

Очнувшись на сцене, я решил выйти из положения, рассказав, как однажды, мрачным и дождливым зимним днем я навестил поэта-учителя Жан-Пьера Жоржа в пригороде Роморантена — самой настоящей глухи, какие только бывают. Как, пройдя по пустынному и мокрому двору школы, я застал его в дальнем углу класса за проверкой тетрадей, сбитого с толку современной жизнью и мироустройством — что и не удивительно для него,

поэта уморительной меланхолии и автора книги «Мне скучно на земле». Как, пройдя по серенькой улице вдоль высокой стены завода, мы зашли подкрепиться в сомнительную арабскую забегаловку, где Жан-Пьер Жорж, рассыпаясь в горьких сарказмах, от души наклюкался булауана*, и как, под конец, когда мы вышли из заведения под моросящий дождь, расчертивший воздух, как в старом фильменуаре, поэт, натягивая капюшон потертой куртки и шлепая по лужам на тротуаре, вдруг обернулся и, глядя на меня большими и увлажневшими голубыми глазами, заявил: «Мне очень жаль, но поэты — неприятный народ».

Когда история кончилась, зрители сидели ошеломленные, и тридцать долгих секунд в зале царила тишина, пока я не разрядил обстановку, добавив: «Это шутка!»

При этих словах слушатели зафыркали со смеху, зааплодировали мне так же бурно, как перед этим поэту (который, склонившись к весталке, казалось, столь же недоверчиво слушал эти попытки перевода, как я его лирические порывы), и собрание весело устремилось к столу, где хлопали пробки шампанского.

Все были довольны, и я в том числе.

СИНДРОМ АЛИСЫ

— Но мне совсем не хочется идти к ненормальным, — заметила Алиса.

— А иначе у тебя и не выйдет, — сказал кот, — здесь все ненормальные. Я ненормальный, ты ненормальная.

— Откуда вы знаете, что я ненормальная? — спросила Алиса.

— Потому что ты тут, — сказал кот. — Иначе бы ты здесь не очутилась.

У скольких из нас при входе в знакомое бистро — где форма беседы, в основном на тему политики, так часто напоминает сложную игру, правил которой никто не знает, и где каждый хоть и спорит невпопад, но все же желает во что бы то ни стало утвердить свое мнение — возникало ощущение, что ты пришел на чай к ненормальным? Петер Хандке* в книге «Писатель после полудня» признается, что часто испытывал этот «синдром Алисы»:

Он потому и пошел в этот гостиничный ресторан на окраине города, который про себя называл «кафе», чтобы удостовериться, что он не чокнутый, а даже наоборот — в чем он всегда убеждался в обществе других людей — он был одной из редких личностей, чье душевное здоровье более-менее в норме.

* Петер Хандке (р. 1942) — австрийский писатель, поэт и драматург.

* Сорт марокканского вина.

Если и существовал ребенок, который испытывал похожее тревожное чувство, глядя на окружающий мир, то им был сын пастора из Дарсбери в графстве Чешир. Этот мальчик (по всей видимости, сверх меры одаренный в математике и логике...) действительно очень рано ощутил свою несходность с другими и как следствие — одиночество. И тогда он придумал себе в утешение старшего товарища и друга, которого назвал Льюис Кэрролл, и вместе с ним создал взамен — с улыбкой, но и с сарказмом — свой особенный мир, где маленькие девочки, которыми он втайне любовался, животные, которым он глубоко сочувствовал, и чопорные и напыщенные персонажи его эпохи выглядели архетипическими марионетками.

Однако если тот, кто позднее станет эксцентричным чудаком и диаконом Чарльзом Латвиджем Доджсоном, явно обладал незаурядным умом, то Льюис Кэрролл был истинным гением, и, создавая эту комедию в мире снов, он не только едко высмеял чрезвычайно консервативное викторианское общество своего времени, но и — на вид совершенно невинным образом — навечно заклеймил нравственные и духовные ценности западного мира в целом.

Как любой гений, Кэрролл ограничился очень простым приемом: он самым естественным образом взял за основу старейшую и сильнейшую духовную традицию своей страны, антиинтеллигентский прагматизм, незыблемую англосаксонскую веру в здравый смысл, законченную модель которого ранее описал доктор Сэмюэл Джонсон и которая нашла дальнейшее воплощение у писателей, мастеров сарказма, вроде Сэмюэла Батлера* («Это была та-

* Сэмюэл Батлер (1835–1902) — английский писатель, художник и переводчик.

кая прекрасная, такая замечательная теория, увы, уничтоженная какой-то гадкой мелочью!», из книги «Путь всякой плоти», Лоренса Стерна, отчасти Чарльза Диккенса, Г. К. Честертона («Сумасшедший тот, кто утратил все, кроме разума», из книги «Ортодоксия») и особенно Джерома К. Джерома.

Однако Кэрролл, как истинный логик — что делает его вклад одинаково уморительным и незабываемым, — ограничился доказательством через абсурд, он довел до бессмыслицы (излюбленный насмешливый выпад здравого смысла) последствия самых классических и самых ограниченных предрассудков своего времени и, поступив так, создал самое действенное, попирающее догмы, произведение из всех когда-либо написанных.

Лин Юйтан, китайский философ, уехавший в Соединенные Штаты, писал:

Презрение англичан к теориям, их манера неторопливо, по мере надобности, их саботировать и в любом случае их медлительность в поиске собственного пути, любовь к личной свободе, уважению и здравому смыслу порядка — всчи, которые действуют на ход событий гораздо сильнее, чем любая логика немецкого диалектика...

А я добавлю: равно как и все блестящие рассуждения француза-картезианца. Причина, вероятно, по которой, заметим по ходу, Льюиса Кэрролла так мало читают во Франции, и, конечно, менее всего те признанные серьезные умы, которые относят его произведения в разряд детской литературы. Мне кажется, правда состоит в том, что эта книга — они предчувствуя это — может показать их самих, запечатленных в бессмертном образе Шалтая-Болтая — закоренелого педан-

та, закупоренного в своей форме самодовольного яйца, который хвастается тем, что может заставить слово означать то, что ему нужно, потому что, как он безапелляционно заявляет Алисе: «Нужно просто знать, кто здесь хозяин!» Или же в образе забавного Белого Рыцаря, чей блестящий ум не перестает изобретать самые невозможные и самые бесполезные вещи, тогда как сам он неспособен и нескольких секунд удержаться в седле своего смиренного скакуна.

Вероятно, поэтому как-то вечером перед сном мне пришла в голову шальная мысль, что произведения Льюиса Кэрролла можно было бы включить, с известной пользой — я имею в виду, как для нас, так и для них, потому что тогда они, может, стали бы опасаться гадких притворных мелочей, маячащих у них за спиной? — в программу знаменитых вузов, выпускники которых все эти современные технократы, которые творят — с неумолимой логикой и высокомерием, как у Дамы Червей, — этот «лучший из миров», в котором мы теперь живем.

Однако я, конечно, почти сразу заснул, прошел сквозь зеркало... и таинственным образом очутился возле камина с красными угольками в викторианской гостиной (мне кажется, где-то в Чeshire...), где напротив меня в кресле «с ушами» спокойно сидел загадочно улыбающийся кот, который обратился ко мне со следующими словами:

«Я считаю, что вы вполне годитесь для того, что задумали, но, увы, боюсь, у вас не хватит на это сил, потому что изменить движение мира, представьте себе, так же трудно, как поймать Брандашмыга!»

ВСЕГДА ЛИ У ЛЮБВИ БУДЕТ ГОРЬКО-СЛАДКИЙ ВКУС?

Мне вспоминается старый парк Багатель, поблекший под осенним дождем, лебеди, медитирующие на черной воде пруда, большой шумный водопад на искусственных скалах, аллеи, устланые влажной опавшей листвой, задумчивые лужи, деревья (как мне казалось), участливо склонявшиеся над нами. Особенно отчетливо помню старенькое убранство чайной, где мы заказали по чашке шоколада (которым это заведение славилось), и как потом она с бесконечными предосторожностями и обилием риторических оборотов начала объяснять, что у нашей «большой любви» нет будущего.

Я глядел на ее строгую наружность девушки из хорошей семьи, красивое отсутствующее лицо, на неземное тело сильфиды, которого в то время я так вожделел, и мне казалось, что от ее слов у меня под ногами разверзается бездна, я в буквальном смысле думал, что сейчас исчезну из этого мира.

Мне было двадцать четыре года, и это было моим первым любовным разочарованием!

И однако, от того, как я тогда ее слушал — застывший призрак моей ранней молодости, — у меня осталось странное воспоминание, по правде сказать, почти похороненное под спудом стольких лет, об остром наслаждении от непередаваемого вкуса шоколада, растекавшегося у меня в горле. Вероятно, именно тогда я осознал умиротворяю-

щее действие синестезии — разве незадолго перед этим я не прочел у Платона о том, что для пылких созданий вкус любви навсегда останется горько-сладким? Эта простая метафора вкупе с вполне материальным вкусом на моем языке какао, сахара и крема в столь умело дозированных пропорциях неожиданно удержала меня в этом мире и не позволила потерять голову от худшей из бед юности.

Я не только познал утонченную прелесть сумрачного наслаждения, сладковатый вкус меланхолии, но и с мрачным воодушевлением понял, что огромная настоящая жизнь,вшавшая все восторги и возможные разочарования неизбежных перипетий (на которые, как я предчувствовал, будущее не поскупится), была в то же время так роскошно щедра, что в случае несчастья взамен всегда оставалась ничтожная мелочь, за которую можно ухватиться; и должен сказать, это убеждение, эта вера не покидала и не подводила меня с того самого дня, по примеру тех воинов (хотя и в обратном смысле), которые, сражаясь с неумолимым врагом, всегда держат при себе капсулу со спасительным цианидом.

У меня это было всегда — в виде конфеты, съеденной украдкой (вроде тех, которыми мама успокаивала мои безутешные детские горести), или (на невыносимо скучном уроке) старой безвкусной жвачки, приклеенной под партой, которую всегда можно пожевать снова, — да, это всегда было маленькой капсулой какого-то конкретного счастья, которое я привык держать под рукой и которое можно вкусить на краю пропасти отчаяния, и крайне редко случалось, чтобы эта тактическая уловка — маленьким лакомством произвести переворот в слишком нежной (и неизбежно уязвленной) душе — не сработала.

Впоследствии я узнал, что шоколад, название которого происходит от древнего мексиканского слова *хосколатль* (означающего «горькая вода»), считался у майя пищей богов или, точнее, как говорится в ученой книге, где я это почерпнул, посредником между богами и человеком.

И все же в тот день моего первого большого крушения любви, когда с печальной улыбкой — неизгладимой из памяти — она ушла, пожелав мне удачи, навсегда повернулась ко мне спиной, чтобы шагнуть в то будущее, где для меня уже не было места, и потом, когда, чуть погодя, я и сам как неприкаянный побрел по пустынным аллеям (потемневшим от проливного дождя), помню, я горячо взмолился о том, чтобы насмешливый Купидон — я догадывался, что мучения его наивных жертв доставляют ему извращенную радость, — проявил бы достаточно сочувствия, когда я вновь окажусь мишенью его жестоких фантазий, и ниспослал мне столь же восхитительное шоколадное утешение!

МАГИЯ НЕСКРОМНОСТИ

Сойдя с поезда на Южном вокзале, я слился с брюссельским туманом и отправился на поиски некой улицы с сомнительной репутацией в квартале Шарбек, где, как говорят, Мишель де Гельдерод* создавал свои мрачные средневековые басни. Разыскивая же указанный мне адрес, я прошел мимо приоткрытой двери квартиры на первом этаже и не смог удержаться, чтобы не глянуть внутрь. Это была мастерская художника, почти пустая, с трогательно старыми стенами. Снедаемый любопытством, я отважился зайти внутрь и громко спросил, есть ли там кто-нибудь. Ответа не последовало. Дивясь собственной смелости, я прошел дальше. Передо мной оказалась средних размеров застекленная веранда с матовыми стеклами, залитая тусклым и каким-то фантастическим светом; в центре была приотворенная дверь, тоже стеклянная, через которую, как мне, не знаю почему, показалось, при моем появлении кто-то выскоцкнул; остальные стены были голые, никакой мебели, кроме красивого столика, низенького и круглого, на котором лежали блокнот и штемпельная подушка. На пыльном паркете валялись холсты и большие листы бумаги. Чуть дальше, тоже прямо на полу, лежали какие-то щетки, молоток и

три миски, от которых сильно пахло kleem. Слева у стены стояла рама, а справа — три перевернутые к стене картины. Все вокруг точно вибрировало от чьего-то недавнего присутствия. Под конец справа в глубине обнаружилась еще одна закрытая дверь, а слева другая, открытая, за которой при осмотре оказался всего лишь чулан, освещенный простым слуховым оконцем, выходившим в маленький двор.

Несколько мгновений я разглядывал это призрачное пространство, практически лишенное всякого содержания, но которое каким-то совершенно таинственным образом заворожило меня настолько, что я забыл, зачем и куда шел. В довершение я не смог удержаться и по очереди перевернул все картины. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что все они — превосходно выполненные в безмолвной, спокойной и прозорливой манере Моранди* — изображали эту самую мастерскую. Только свет на каждой немного менялся.

В голове у меня помутилось, пришлось встремхнуться и самого себя урезонить, потому что мне вдруг странным образом почудилось, будто я снова вижу один и тот же давнишний сон, в котором я неизменно двигался по трубе бесконечной спирали... Не знаю, сколько я такостоял совершенно зачарованный, а потом, позабыв о своей первоначальной цели, прошагал полгорода в обратную сторону и скрылся в своем гостиничном номере.

В тот вечер я забылся тяжелым сном, а на следующее утро проснулся с неодолимым желанием снова побывать в мастерской. Около одиннадцати, не в силах больше терпеть, я отправился туда. Дверь

* Мишель де Гельдерод (1898–1962) — бельгийский писатель и драматург, писал на французском языке.

* Джорджо Моранди (1890–1964) — итальянский живописец и график.

снова была приоткрыта ровно на столько, как и вчера. На этот раз я вошел без предупреждения, чтобы попытаться застать кого-нибудь врасплох, но все оставалось по-прежнему, за исключением, однако, того, что к картинам прибавилась одна новая. Повернув ее, я лишь увидел еще одну вариацию освещения, в остальном она не отличалась от прочих.

Три дня подряд я возвращался в это место в одно и то же время, и все повторялось вновь, словно я уже участвовал в каком-то ритуале, — на каждом новом полотне свет падал чуть иначе, другие же детали оставались неизменны. Утром того дня, когда мне предстояло вернуться в Париж, едва войдя, я заметил малюсенькую перемену в расположении вещей: рядом с раскрытым блокнотом лежал карандаш, и я прочитал слова, написанные прекрасным дрожащим почерком: «Спасибо за ваше чуткое участие». Взяв карандаш, я ощутил тепло только что державшей его руки. Я распахнул стеклянную дверь: передо мной был маленький глухой дворик и ни одной живой души...

По пути домой, когда ливень хлестал окна поезда тысячью дрожащих капель, я как никогда прежде отдался колдовскому очарованию их бесконечного, легкого и дружеского постукивания.

ПАНИЧЕСКИЙ ТРЕПЕТ В СТЕНАХ АКАДЕМИИ

Знаменитый искусствовед пригласил меня на публичную лекцию, которую он собирался читать в Академии изящных искусств, смежной с Французской академией. А поскольку я не только никогда не упускаю возможности приятно поскушать, но еще ни разу не имел случая переступить порог этого авторитетного заведения, то с готовностью согласился.

И вот я — оробевший при виде окружающего декора, подобный которому мне до сих пор приходилось видеть разве что по телевизору во время министерских докладов из Матиньонского дворца, — сижу на том месте, которое указал мне чопорный служащий.

С одной стороны я разглядывал освещенные кессоны потолка, огромные настенные росписи, изображавшие главные гражданские добродетели, галереи вдоль мезонина, откуда открывался доступ к стеллажам с тысячами томов с золоченым обрезом, полукруглые ниши со статуями знаменитых художников, стоящий передо мной столик, покрытый зеленой кожей, с располагающей к медитации лампой молочного стекла, а с другой стороны довольно многочисленное собрание, которое шумно перешептывалось в ожидании предстоящего действа и среди которого, как я по ходу отметил, я был самым молодым — остальные представляли собой семидесятилетнюю элиту парижских литературных кругов. Еще я прямо перед собой смог полюбовать-

ся большой толпой увядших красавиц, выставлявших напоказ целый арсенал драгоценностей, при виде которых побледнел бы и самый прожженный альфонс. Что до мужчин — причесанных, в костюмах и при галстуках, — их одежда все же несла отпечаток той легкой небрежности и поношенности, который является достоянием почтенного возраста и придает дополнительной элегантности тем, кому больше нечего доказывать. На боковой сцене о чем-то оживленно беседовали председатель собрания и двое его подручных.

Наконец вышел мой новый друг, и председатель, кратко перечислив его заслуги, торжественно передал ему слово.

Сообщение, насколько я помню, касалось «Тайных средств современной скульптуры». После шутливого вступления мой друг неожиданно перешел к научной демонстрации на тему фундаментального математизма, лежащего в основе архитектуры Средневековья, сопровождая свои слова множеством примеров с помощью висевшего перед нами экрана (проектором управлял помощник), который показывал разнообразные схемы, украшенные венцией непонятных цифр.

Мною уже начала овладевать приятная сонливость, когда я вдруг осознал, что оратор выбрал меня привилегированным слушателем и, произнося свою речь, постоянно смотрел на меня. Изо всех сил борясь с одолевавшим оцепенением, я stoически не закрывал глаз и время от времени с понимающим видом улыбался, когда, как мне казалось, я на слух определял конец фразы. Украдкой оглядывая соседние ряды, я убедился, что добрая половина присутствующих действительно спит; с большим изяществом, тем не менее большинство — подперев ладонями лоб — изображало глубокую задумчивость.

Тем временем, когда доклад подошел к ключевому пункту — негритянскому искусству и его влиянию на кубизм, — на экране замелькали африканские маски, одна причудливее другой.

Оратор вдруг сделался чрезвычайно красноречив, а по рядам зрителей словно пробежала искара. Послышались восклицания, смех, пожилые прелестницы заерзали на стульях, и одна из них, перебив докладчика, внезапно поведала о том, как в джунглях Габона ей довелось пережить состояние транса. Пока длился рассказ, а на экране менялись изображения идолов, многие пожилые господа принялись выступивать ритм на столиках, как на ударниках, другие потихоньку затянули монотонную импровизированную мелодию, а некоторые украдкой выделявали таинственные движения.

Между тем докладчик дошел до завершающей части и принял методично перечислять главные тезисы своего доклада, а собрание потихоньку успокоилось, и каждый вновь с важным видом погрузился в прелестную и утешную полудрему.

К моему великому облегчению.

СВЕТСКАЯ ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ

Назначив встречу своему приятелю Патрику, который одолжил мне лестницу и должен был подвезти ее на грузовичке, я приехал чуть раньше и смог полюбоваться на некое святилище, устроенное на пересечении большой и малой дорог.

Рядом с земляной площадкой, где машинам можно развернуться, проходит полусельская-поселесная дорога, углубляясь в тень деревьев, словно приглашая прогуляться по картинам Гюстава Курбе. У начала дороги течет ручеек, сбегая по корням огромного ясения, растущего прямо из воды. Когда воцаряется тишина (то есть когда нет проезжающих машин), слышится тихое однообразное журчание крошечного водопада.

Ближе к большой дороге, напротив лестницы, спускающейся от соседней с нами деревни, сооружено настоящее святилище. Это грот из красного камня, огороженный решеткой, в глубине которого статуя Святой Девы довольно грубой работы (яркосиние, обращенные к небу глаза...). Перед нею на выступе три вазы: в одной — пластмассовые цветы, во второй — немного увядший полевой букет, а в третьей... в общем-то это просто глиняный горшок, украшенный пышной геранью. Верх грота с поразительным изяществом и вкусом обрамлен каменной гирляндой.

Этот ансамбль покоятся под сенью больших деревьев, придающих месту очарования, и являет со-

бой типичную картину все еще столь живописного облика французской деревни.

Тем не менее, как и следует ожидать, захватническое наступление современного мира и здесь не дает забыть о себе. Начать с того, что большую дорогу недавно расширили, чтобы машины могли ездить еще быстрее, и заметить это место стало еще труднее. Далее, если даже случайному прохожему вздумается сюда забрести, очарование будет скоро разрушено оглушающим ревом какого-нибудь мотора и, образно выражаясь, оскверняющим присутствием (и как я — не будучи убежденным фанатиком — полагаю, не вполне невинным из-за подспудной борьбы и бессознательных интриг противоборствующих групп нашего общества), оскверняющим, стало быть, присутствием столика для пикника установленной модели, которые поставляет департамент по туризму и которые стоят у обочин дорог по всей Франции, — столика, который одновременно играет поверхностную роль педагогической пропаганды в пользу действующей системы, а также преследует более глубинную, я бы даже сказал, более порочную цель ставить клеймо на то, что в таких очаровательных уголках могло бы хоть немного настроить на лирический лад, приобщая к сокровенному или религиозному; прежде всего, речь о том, чтобы, лишая своеобразия, ослабить, а по возможности и искоренить всякую духовную наполненность, иногда еще очень стойкую в таких местах.

И вот, глядя на это святилище, которые сегодня еще часто встречаются у обочин сельских дорог, и, как можно убедиться, большинство из них — как и то, что было сейчас передо мной, — неустанно украдкой украшаются цветами (наивными душами, еще чудом сохранившимися в отдаленных

уголках?..), я думал о том, какой это яркий пример, не столько даже народной любви к христианству, а скорее глубокой и неискоренимой мони язычества... Потому что эти статуи Святой Девы, разных святых, лесные и деревенские часовенки, все эти холмики и распятия у скрещенья больших и малых дорог установлены здесь по стратегическому плану, как говорят, тут проходит что-то вроде силовых линий земли, которые якобы некоторые люди способны различить на топографической карте страны.

Да, похоже, все эти местные святые расставлены очень искусно в зависимости от различных сил, которые приписывают их изображениям. Они духи этих мест, и, по сути, наполовину христианские (по долгу и повиновению), а наполовину языческие (по глубокой, истинной, многовековой и атавистической вере). Не зря же знахари и целители (всегда, как известно, так или иначе склонные к мистике и столь популярные в деревнях) прописывают своим пациентам благодарственные записки и молитвы этим маленьким местным божествам. Вероятно, именно по той же причине, как я уже говорил выше, приверженцы всепобеждающего прогресса, хотя и высмеивают между собой подобные обычай и верования, не могут не стремиться (человеческие создания, даже самые прагматичные, связанные друг с другом таинственными «антеннами психики») уменьшить и по возможности противостоять из последних сил (что подтверждает, что они принимают это всерьез) магическим излучениям, по-прежнему сильным в таких очаровательных уголках — само по себе слово «очарование» уже по смыслу является настолько неуловимой субстанцией, что рациональный ум неспособен ее постичь.

Однако подобно тому, что, как известно, христианский мир почти всегда строил свои церкви на месте бывших языческих храмов — практика, имеющая, на мой взгляд, двойственное значение: впитать возможную магическую энергию, одновременно символически уничтожая ее, — так и сегодня новый всеобъемлющий светский характер жизни (по своей глубинной сути та же верность христианству, только в ультраинтеллектуальной версии чистейшего и неприкрытого протестантизма), итак, я говорю, всеобъемлющий светский характер, а именно воинствующая технократия не может не проповедовать на свой лад, с горячим рвением, методично устанавливая инструменты своей теневой власти в последних уголках, где еще сохранились пережитки прошлого. Она бы не поступала так, если бы интуитивно не чувствовала странную, необъяснимую силу — которая ей явно внушает страх — этих верований, глубоко укоренившихся в душах простых людей.

Впрочем, возможно, как раз самые примитивные из представителей технократии охотней всего останавливаются всей семьей, чтобы освежить свои мелкие души, поблекшие, иссущенные и зачерствевшие от пропаганды разумного, в лучах лесного и сельского очарования, волшебным образом исходящего от таких освященных мест, не боясь — утвержденные столики для пикника стоят на страже — распустить себя или поддаться поэтическому настроению, чего всегда следует опасаться (мало ли что...), если отважился перейти черту.

ОТГОЛОСКИ ЖИВОГО МИРА

Когда печальные и мучительные обязанности, которые, увы, время от времени налагает на нас жизнь (например, если ваш близкий угасает в какой-нибудь мрачной больнице), в какой-то степени отрезали меня от окружающего мира на добрую половину лета и до меня доходили лишь отголоски того, что творилось вокруг, мне показалось, что в каком-то смысле в такой отстраненности было что-то полезное, что, возможно, она позволяла лучше понять суть событий, нежели непосредственная к ним близость, которая имеет досадное свойство все затуманивать.

Так я с некоторым опозданием узнал, что Ингмар Бергман и Микеланджело Антониони умерли почти в то же время, что и Мишель Серро*. Эта странная новость не давала мне покоя несколько дней, хотя я не мог понять почему. Потом мне пришло в голову, что, наверное, мое подсознание уловило в этом некую естественную замену; как будто Серро подшутил над нами, умерев тогда же, что и эти двое, чтобы напомнить о том, как несерьезна, как изначально смехотворна всякая чрезмерная сакрализация, и бросить шутовской вызов двум выдающимся представителям — иногда возвышенным,

но чаще суровым — эстетизма и интеллектуализма мирового кинематографа.

Мне тогда вспомнились долгие часы моей молодости, которые я, как завороженный, проводил в темных залах в компании друзей-киноманов за просмотром фильмов этих двух певцов утраченных иллюзий, отчужденности и страха перед жизнью, этих эстетов послевоенного разочарования, которые заставляли нас, тогдаших — а сnobизм и юношеский эротизм тому способствовали, — изображать из себя таких же угрюмых, искушенных и артистически несчастных, как главные герои их фильмов.

Да, элегантные персонажи, утратившие связь с миром, неподражаемые «посторонние» Камю, влачащие свой жизненный (а главное, экзистенциальный) сплин в компании сколь потрясающих, столь же и роковых героинь, как Моника Витти, Лючия Бозе, Ванесса Редгрейв, Ингрид Тулин и Лив Ульман... Эти сумрачные, пресыщенные денди с мрачными голосами, усталыми улыбками, чьи движения медлительны и безупречны — Макс фон Сюдов, Гуннар Бьёрнстранд, Марчелло Мастрояни или Дэвид Хэммингс.

Еще я вспомнил долгие часы сонной скуки, к которой мы себя принуждали (дань парижскому конформизму!) и которая, к счастью, порой приводила к какой-нибудь замечательной искусительной сцене: дружеский жест Моники Витти, как завершение бесконечных длиннот «Приключения», десять минут чистой кинематографической поэзии после отрывистых воспарений «Затмения», теннисная пантомима в лондонском парке после избытка мужского самодовольства в «Фотоувеличении», живописные планы а-ля Ротко в туманном сюжете «Красной пустыни», пронзительное проща-

* Мишель Серро (1928–2007) — французский комический актер.

ние Виктора Шёстрёма* с юношами на балконе в «Земляничной поляне» (восхитительный фильм от начала до конца), три женских лица, отраженных в зеркале театральных кулис, в «Жажде» (шедевр Бергмана), скрытое шекспировское веселье «Улыбок летней ночи», череда парящих моцартовских ужасов в «Часе волка» — один из первых фильмов в длинной череде, которой положила начало «Персона», — и в основном посвященный трем гнетущим метафизическим ужасам кьеркегоровской зависимости, — и я подумал, что в конце концов с великим произведением, как и вообще в жизни, нужно уметь немногого (а иногда и подолгу) поскучать, что, коротко говоря, нужно уметь ждать достаточно, чтобы познать самые неслыханные откровения; уметь выдержать, к примеру, долгие праздные отступления «Поисков»**, чтобы неожиданно прикоснуться к истинному чуду погружения в себя в литературе, вытерпеть всю банальность пищеварительных процессов в «Улиссе» ради монолога Блума, переварить бесконечные домыслы Музилля о душе и точности в «Человеке без свойств», чтобы потом трепетать над самой захватывающей историей любви в европейской литературе, — и я пришел к заключению (по крайней мере, на минуту, ибо как окончательный довод надо мной постоянно тяжело нависает призрак Флобера), что гениальность самых величайших художников проявлялась скачкообразно, как озорной дух случайных вдохновений, и что нашей ошибкой — которая без конца повторяется — было желание любой

ценой возвести мастера на пьедестал и уверовать в его непогрешимость...

Не эту ли мысль, если вдуматься, пыталось внушить мне мое подсознание, когда мне не давал покоя одновременный уход нашего национального комика — чье творчество, впрочем, так же неоднородно — и двух скучноватых, но в целом несравненных великих представителей художественного и экспериментального (как уже не говорят) кино прошлого века, которыми были Бергман и Антониони?

* Виктор Шёстрём (1879–1960) — шведский режиссер и актер, основатель классической шведской школы кинематографа.

** Имеется в виду цикл Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».

ЗА СТИХИ БУТЕРБРОДА НЕ ЖАЛКО, ВЕРНО?

Сколько помню, этот человек всегда стоял на том же месте, что и сейчас: если точно — на тротуаре напротив пивной отеля «Лютеция», недалеко от газетного киоска и в двух шагах от станции метро «Севр-Бабилон». На протяжении нескольких лет (конца прошлого и начала нынешнего века) я видел его на этом месте, в прекрасном костюме, при галстуке, в начищенных ботинках, маленькие круглые очки на носу, пристальный и немного покорный взгляд, в холодные дни он слегка наклонялся вперед и переминался с ноги на ногу, а стоило кому-то пройти мимо, бесцветным и ритмичным, как тиканье метронома, голосом, произносил одну и ту же неизменную фразу:

— За стихи бутерброда не жалко, верно?

Этот тип меня всегда одновременно гипнотизировал, слегка настораживал и смущал, особенно его «слоган», впрочем, я не припомню, чтобы кто-нибудь когда-нибудь остановился поговорить с ним. Потому-то, сколько бы я себе ни внушал, я и сам не решался к нему обратиться. Какой-то таинственный запрет, быть может, некий необъяснимый страх всегда мешал мне это сделать. Как будто во время этих повторяющихся встреч нечто безумно двойственное выходило за пределы моих обычных суждений, словно я одновременно боялся заговорить с этим полупоэтом аутистом, каких в больших городах встречается множество, и в то же

время, по примеру древних греков, страшился подвергнуться испытанию при встрече с божеством, переодетым в рубище бедняка. Еще более странно то, что, сколько бы я, завидев его, ни говорил себе, что нужно сразу же сделать запись о встрече с этим необычным пришельцем, неожиданно возникавшим в центре района парижского литературного истеблишмента, впоследствии это намерение словно затуманивала какая-то пелена.

Долгое время он держал под мышкой портфель, довольно тонкий и не закрытый, из которого торчали листки с напечатанным текстом, и казалось, он сейчас предложит их вам по цене того самого бутерброда. Однако в последние годы я стал замечать, что он стоял с пустыми руками и, кроме того, его одежда и внешность стали выглядеть гораздо хуже. А совсем недавно я видел, как он сидел, сгорбившись, на ближайшей лавочке, в нескольких шагах от своего привычного места, и сквозь зубы бормотал ритуальную фразу, но не договаривал до конца: «За стихи бутерброда...», как будто механизм заедало на полуобороте. Но и тогда, охваченный каким-то неудержимым уважением к человеку, я не смог остановиться.

Было очевидно, что парень окончательно превратился в бродягу и у него уже нет сил продолжать свое стихотворное попрошайничество, но по привычке, ставшей ритуалом, он по-прежнему машинально выполнял свою таинственную миссию на этом островке тротуара, который закрепился за ним по праву. Но что же скрывалось за этим необычным упорством?

Прошлой весной, во время книжной ярмарки «Рынок поэзии» (которая вздымает свои шатры в нескольких кабельтовых оттуда на площади Сен-Сюльпис), поскольку я уже слегка прогулялся меж

бесчисленных стендов, где, не смешиваясь, взаимодействовал маленький мирок официальных поэтов, очень напоминавший съезд любителей кроссвордов или филателистов во время взаимных поздравлений, и в очередной раз, для очистки совести, но тщетно, попытавшись разгадать какую-нибудь головоломку из журналов, лежавших стопкой на столе, я решил немного пройтись, чтобы развеяться.

Неизбежно проходя по улице Севр к своему метро, я вновь увидел, как он сидел на лавочке, обесцленный, и уже даже не повторял заученную фразу, а только, потупив взгляд, бормотал себе в бороду что-то нечленораздельное.

Тронутый до глубины души, я впервые отважился с ним заговорить. Приблизившись, я спросил, могу ли чем-то ему помочь. Он поднял голову и посмотрел на меня пристальным, абсолютно непонимающим, почти ошеломленным взглядом, и в его растерянных глазах я ясно прочел признаки полу-безумия. (Быть может, с ним впервые за долгое время заговорили?) Он ничего не ответил, и я пошел своей дорогой.

Позднее, когда я в сомнениях и грусти шагал мимо высоких, ярко освещенных окон этого шикарного квартала, мне вдруг вспомнилось, что точно в такой же вечер поэт Жерар де Нерваль, достигший предела своего безумия и скучных средств, по выражению Жоржа Лембура, «повесился на газовом фонаре парижской улицы, как на огромной деснице Бога».

СПОРТСМЕНЫ И ПРИЗРАКИ БУЛОНСКОГО ЛЕСА

Чем меня всегда завораживали парки, так это своим фантастическим обществом.

Будь то в дни моей молодости, благодаря теннисным тренировкам на стадионе «Ролан-Гаррос» или в Гоночном клубе Франции, во время командных встреч, когда для нас были открыты двери ресторана «Тир о пижон» и клуба «Поло де Багатель», или позднее, когда я проезжал его целиком на двух колесах, или же ночью на машине, возвращаясь из западного пригорода, задержанный скоплением машин, фары которых освещали полуобнаженных существ, похожих на женщин или мужчин, которые, распахнув полы плаща, трясли возбужденным членом, этим предметом культа всех времен, за долгие годы в моей памяти скопилось множество стоп-кадров из жизни Булонского леса, на которых причудливым образом смешались спортсмены и призраки.

Приезжая в «Поло де Багатель» для командных встреч, мы с товарищами по клубу немного нервничали при мысли о буржуазной роскоши, с которой нам предстоит столкнуться, я не мог удержать улыбки, видя — в двух шагах от роскошных лимузинов, где дремали шоферы в униформе и из которых только что вышли денди в сапогах, в шляпах из лакированной кожи, в блейзерах с гербом (в ту пору некоторые еще носили монокли), за ними мажордомы, несущие спортивные сумки и длин-

ные деревянные молотки, а невдалеке конюхи, гоняющие рысью по газону нарядных лошадей, — обширный арсенал из рыболовных снастей, съестных припасов и родни (термосы, барбекю, маленькие приемники, зонтики, раздвижные удочки, волящая малышня, еле ходячие бабули и дедули и т. д.), который размещали — словно на снимках первых оплачиваемых отпусков Картье-Брессона — несколько рыбаков, разбивавших свой лагерь на берегу маленького пруда (доступного всем) в каких-то десятках метров оттуда.

Примерно такая же роскошь, хотя и на ступень выше по социальной лестнице, царила в «Тир о пижон» (тогда туда ходили в основном отставные генералы) и в Гоночном клубе Франции (уже неслучайно завоеванном, к великому прискорбию давних членов, довольно заносчивыми парижскими нуворишами в спортивных костюмах с иголочки). Мне нравилось наблюдать, как пожилые красавцы спортсмены, играя немного помятymi мускулами, отработанными скачками бегали по газонным дорожкам на виду у бесчисленных наяд, загорающих у бассейна в ожидании покровителя.

В перерывах между тренировками на «Ролан-Гарросе», поскольку я уже давно понял, что необходимо скрыть мой интерес к книгам от товарищей по спорту, чтобы почитать, я прятался напротив, в роскошных теплицах сада Отей, где обитали ботаники, впадавшие в экстаз от карликового папоротника Суматры, и которые, кажется, слава Богу, смотрели на паренька, средь бела дня уткнувшегося в книгу, как на родственную душу.

Много лет спустя, отправляясь по утрам в субботу на остров Плюто, где я был тренером по теннису, я выбирал маршрут вдоль гоночных треков Лоншан и останавливался полюбоваться на сменявшие друг

друга стремительные потоки велогонщиков, мчавшихся что было сил по отдельной дорожке, выгнув спину над велосипедом, в облегающих флюоресцентных костюмах, шлемах и очках, как на легендарной велогонке Париж—Рубе, как они, вполне понятно, проносясь мимо, оскорбляли докучных любителей без шлемов, с прямой спиной, когда те как ни в чем не бывало спокойно крутили педали, и по их нарочито беспечному виду было легко догадаться, что они явились сюда специально, чтобы исподтишка тормозить рекордный заезд фанатиков спортивных достижений.

Если я выбирал внутренний маршрут, то ехал вдоль озера, завидуя флиртующим парочкам в лодках, плывущих к маленькой Кифере, зеленому островку посередине, затем я срезал путь, что позволяло мне мельком видеть важных рыболовов, ловивших на муху, как раз когда они забрасывали удочку в искусственную речку.

Сегодня, когда я въезжаю на велосипеде на парковые аллеи — обычно, чтобы потом немного побегать вокруг озера, — переехав западное шоссе по маленькому мосту, который нависает над ним за «Ролан-Гароссом», я ненадолго задерживаюсь у площадки для игры в петанк, где, по слухам, делаются астрономические ставки, потом еду к бассейну, где лучшие моделисты с помощью пульта управляют маневрами своих опытных образцов, и, наконец, доезжаю — встречая десятки бегунов и собак всех мастей — до полей, где по выходным сражаются команды регбистов и футболистов перед маленькой горсткой сонных болельщиков, долго стою, наблюдая, как по полустертой разметке на вытоптанной траве, недалеко от могучих деревьев парка Багатель, эти спортсмены-любители в разномастных футболках гоняют, как одержимые, и не

без горечи думаю о том, чего лишил меня большой спорт, когда я рас прощался с детством: чистой радости от усилий, без награды и задних мыслей.

Но если и есть некий незримый, далекий от спорта друг, мысль о котором неотступно преследует меня во время прогулок по Булонскому лесу, это, конечно, Марсель Пруст, который, как известно, уделил ему в своих «Поисках» особое место. Между тем как-то вечером, когда я задержался у большого водопада, рассеянно слушая шум воды, в тени нависавших над ним деревьев мне вдруг привиделся силуэт человека, несколько чопорного в своей элегантности, облаченного в тяжелую старую шубу, который, казалось, наблюдал за припозднившимися прохожими, завершившими прогулку по аллеям парка. И внезапно мне пришло в голову, что в конце концов очень возможно, что в сомнительные часы мир духов иногда позволял себе краткие уступки тем, кто этого достаточно сильно желал...

ВАРВАРСТВО В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

В прошлый четверг одна моя знакомая ехала на велосипеде по набережной Рапе и была сбита насмерть грузовиком, водителя которого, как и многих автомобилистов, в чем я недавно смог убедиться, раздражали велосипеды, тормозившие движение.

Но причиной, по которой я здесь об этом заговорил, стал тот ошеломляющий факт, что во время похорон и последующих разговоров я почувствовал какую-то фатальную и неизбежную покорность парижан перед тем, что езда на велосипеде в современном городе стала настолько опасной, что это средство передвижения оставалось только запретить, чтобы позволить автомобилям без помех ездить еще быстрее. Как будто автомобилист король и имеет священные и незыблевые права, сравнимые со старинными привилегиями сеньоров.

Поскольку самому себе я запретил пользоваться в городе автомобилем и уже десятки лет езжу на велосипеде, не отрицаю, что при нынешнем положении дел это занятие чревато многими опасностями, о которых следует знать и по-разному на них реагировать, что также требует определенных навыков: выработки нужных рефлексов, неослабленного внимания и осторожности, как во время матча по регби или, хуже того, по австралийскому футболу. Однако здесь я хотел бы сказать, что такого не только не должно быть, но необходимо сделать так,

чтобы привычки изменились, и я совершенно не понимаю, почему автомобилисты, а тем более водители грузовиков и автобусов должны продолжать думать, что у них больше прав, как дикари, которые навязывают свое мнение силой.

На эту тему я хочу рассказать один случай, произошедший со мной несколько лет назад в Абиджане*.

В центре города на перекресток неожиданно выехал человек на ржавом велосипеде, а проезжавший автомобиль, не сумев вовремя затормозить, сбил его. Вокруг раненого (стонавшего на земле) немедленно собралась большая шумная толпа, а водитель, вышедший из автомобиля, остановив его посреди дороги с открытой дверцей, подобно трибуну обратился к присутствующим с речью. А поскольку я стоял во втором ряду и не участвовал в споре, у меня завязался разговор с соседом. Указывая на водителя, он сказал:

— Для него это очень плохо, он попал в серьезную переделку.

— Но ведь он не виноват, велосипедист вылетел на перекресток, даже не глядя по сторонам.

— Да, но у нас в Африке считается, что всегда виноват тот, кто сильнее. Автомобиль же больше велосипеда, разве не так?

— Так, я совершенно согласен, обо всем следовало бы судить именно так...

— Мы здесь привыкли уважать друг друга, мой отец, который жил в деревне, говорил мне, что слоны никогда не наступят на самого маленького зверька, потому что побоятся его раздавить.

— Серьезно? И нам было бы здорово перенять такие привычки, но у нас, к сожалению...

— Как? Разве у вас в городе Париже шоферу, который сбил велосипедиста, ничего не грозит?

— Теоретически грозит, но на самом деле каждый так или иначе считает, что велосипедисту нужно быть осторожней.

— Да вы просто варвары! — возмутился мой собеседник, а потом, указывая на водителя, отбивавшегося от разъяренной толпы, добавил: — Будем надеяться, что у этого парня хорошо подвешен язык, а не то до приезда полиции люди его уокошают...

Я думаю, что погибшая велосипедистка, которая была врачом и психоаналитиком, удивительно располагающей к себе женщиной, прекрасно умевшая слушать, чрезвычайно внимательная к другим и неравнодушная к социальным проблемам, согласилась бы со мной и ей не хотелось бы, чтобы ее печальный пример позволил грубиянам торжествовать и навязывать нам свои принципы, подчиненные скорости, максимальной выгоде, могуществу и доходу, вечному стрессу, победе любой ценой, а значит, уничтожению слабых, одним словом, скрытому варварству, угрожающему не только простому здравому смыслу цивилизованного общества, но (не говоря уже об экологии) и удовольствию совместной жизни в большом городе без боязни бесчеловечных машин, несущихся очертя голову и диктующих свой беспощадный закон.

В заключение я хотел сказать, как бы возводя маленький памятник погибшей, об одной вещи, которая всегда ощущалась при общении с ней, о ее искреннем стремлении никого не обидеть, отвратить и излечить душевые раны, которые мы можем нанести друг другу в повседневной жизни. Вежливость и предупредительность были главными ее достоинствами; потому-то и лечение у нее было одним из самых приятных, а ее уход столь

* Крупнейший город Республики Кот д'Ивуар.

болезненным для ее друзей, близких и, без всякого сомнения, для ее пациентов.

Но свидетель происшествия мог бы поведать о том, что видел эту женщину, когда она ехала на велосипеде по тротуару, задела руку прохожего, и именно в ту минуту, когда она свернула с дороги, чтобы извиниться, сверхмощный железный монстр (современное воплощение Левиафана), взбешенный плотным движением, яростно ринулся напролом.

Поэтому очевидно, что именно эта отличительная черта, за которую мы ее так ценили, это желание сгладить самый малый ущерб (что являлось и ее профессией) заставило потерять бдительность и погубило женщину-миротворца, которой она старалась быть в мире, где дикари не оставляют нам ни единого шанса сойти с той узкой тропы, которую они нам выделили и где они еще худо-бедно нас терпят...

ПОГИБАЮЩАЯ ПЛАНЕТА

Обращение к велосипеду как к средству передвижения, как в городе, так и в других местах, в действительности обнажает целый ряд скрытых проблем, связанных с местом, которое мы уделяем развитию техники в нашей жизни. Кажется, я уже не раз говорил, что те, кто ратует за то, что следовало бы назвать «неконтролируемым прогрессом», и слепо доверяют благам технократического мира, почти не задумываются об истинном благосостоянии, о настоящем комфорте, об учтивости, о приличии в прямом смысле слова, да и о счастье вообще.

Им важны лишь показатели успеха, то есть цифры, говорящие о рекордных скоростях, о доходе, достатке, массовых экономических показателях и так далее... лишь бы пожертвовать простым здравым смыслом. Это сторонники цивилизации количественной в противовес качественной, этого почти угнетающего количества, которого у нас есть все основания опасаться и которое мало-помалу приближает нас к «тихому апокалипсису» (по выражению Кеннета Уайта).

В самом деле, кажется, все указывает на то, что планета гибнет, и если не произойдет чуда, то будущим поколениям придется очень туго затянуть пояса, если, конечно, им удастся выжить. Но вольнодумцы, поющие дифирамбы прогрессу — чье блестящее образование послужило лишь единственному значимому событию: потере здравого смысла, —

продолжают пророчить нам светлое будущее, где все проблемы будут решены путем развития науки и техники, хотя кажется вполне очевидным (разве что кого-то это приятно удивит), что как раз именно оно опрометчиво ведет нас к катастрофе.

Оттого, что наше сознание затуманено образом идеального общества, существующего лишь в мечтах, мы рискуем проглядеть эмпирическое развитие вещей, а подобное упущение повлечет еще больший упадок, на что мы не обращаем внимания из-за своих нелепых фантазий.

Жюльен Фройнд. «Упадок»*

Современные политические споры часто напоминают мне экипаж тонущего корабля, разделившийся на два враждебных лагеря, где люди с пеной у рта спорят о том, кому из них выпадет честь стать капитаном, которому суждено погибнуть, стоя у штурвала в строгом белоснежном кителе и военному салютуя прекрасному образу собственной самоотверженности...

Я начал с рядового несчастного случая на дороге (мелкого в сравнении с проблемами, будоражащими мир, и трагического для меня лично, поскольку меня это близко касается, но речь не об этом), чтобы перейти к общей ситуации в мире; честно говоря, эта история гибели велосипедистки и та враждебность к велосипедистам вообще, с которой я впоследствии столкнулся, показались мне характерными для города и страны, где отношение к окружающей среде вот-вот станет самым отсталым и агрессивным в Европе. Страна, где понятие «эко-

логия» прогнило со всех сторон, где велосипедист в городе и учебная машина на трассе, все, что тормозит безумие головокружительной скорости, становится помехой в гонке по кругу... и никто даже не задумывается о такой простой вещи — разве этот бессмысленный бег не ведет в никуда, к центру порочного круга, которым стало вечное ускорение нашей жизни.

В заключение хочу обратиться с советом к нетерпеливым поклонникам беспокойной жизни — каждый раз, когда вам приходится плестись за велосипедистом (быть может, слегка неловким) или терпеливо ждать позади слегка напуганной пожилой дамы в маленьком электромобиле (на сельской дороге), потратьте это время, неожиданно сбереженное от привычной жизненной гонки, чтобы немного поразмышлять (даже если вы к этому не привыкли: уверяю, это совсем не больно) и задать себе решающий вопрос, на который много веков назад уже осмелились философы-элеаты: а что, если время, сэкономленное благодаря спешке, невозможно употребить для счастья?

* Жюльен Фройнд (1921–1993) — французский философ, социолог, последователь Карла Шmitta.

ДАНИЕЛЬ, ПЛЯЖНЫЙ УБОРЩИК

Как-то вечером (с тех пор уже прошло какое-то время) в телепрограмме «Таласса» происходит невероятное и чудесное явление Даниеля, *beach comber*, иначе говоря, «человека без определенных занятий».

В Британской Колумбии, в запутанном лабиринте канадских фьордов, где постоянно перегоняют огромные плоты сплавного леса, откуда случайно (но довольно часто) отделяются по нескольку стволов, которые прибивает к пляжам и в уединенные скалистые бухты, Даниель на своем маленьком (но очень мощном) катере осматривает самые укромные уголки и с помощью новейшего оборудования из багров и цепей захватывает огромные древесные стволы, на которых остановил свой выбор (по канадским законам, упавшие стволы по праву при надлежат тому, кто возьмет на себя труд их подобрать).

Камера следит, как Даниель с биноклем в руках осматривает мельчайшие изгибы фьордов, от дикой красоты которых захватывает дух, и зритель сразу чувствует, что жизнь нашего героя — постоянное ликование. Его воодушевляет не только великолепие окружающей природы, среди которой ему по-счастливилось вырасти, но также — то же самое испытываем и мы — наслаждение физическим и душевным здоровьем от постоянного общения с водой, лесом, небом, капризами погоды и величайшее удовольствие «охоты за сокровищами», захва-

тывающая игра в поиск: предчувствие, старание за-приметить «крупную добычу», которую пока никто не увидел и которая наверняка ждет где-то там, в следующей бухте!..

Все это тем более очевидно, что в Даниеле — жизнерадостном здоровяке с сочным англоканадским акцентом — есть что-то от тех крепышей бродяг или авантюристов поденщиков, описанных в книгах Стейнбека, Керуака или Джека Лондона. Когда я слушал, как он рассказывает о своем ремесле, о животных, о красоте заснеженных гор, окружавших фьорд, о случайных бурях и поломке оборудования, все это со смехом и шутками — эдакий азартный игрок в настоящем честном поединке перед ударами судьбы и публичными оскорблениеми своего грубого образа жизни, — а потом возвращается к себе в хижину в центре острова, затерянного среди скал, по вечерам, напевая, сидит у огня со своим приятелем и компаньоном, во мне вновь рождались детские мечты о захватывающей жизни трапперов и индейцев Великого Севера и просыпались далекие забытые воспоминания о давнишней пантеистической утопии, возникшей после прочтения книг Фенимора Купера или Серой Собы*.

И как потом верно выразился в интервью замерщик из порта (важный посредник, определяющий цену ствола, цену, увы — вполне понятно, — далеко не окупющую затраченные усилия): «Эти парни занимаются своим ремеслом не ради денег, им просто нравится такая жизнь!»

Между тем, глядя через объектив камеры, как на заключительных кадрах Даниель, не поворачи-

* Серая Соба (1888–1938) — настоящее имя Арчибалд Стэнсфелл Белани, канадский писатель британского происхождения, выступал за права индейцев и сохранение природы.

ваясь, бодро машет рукой, а его судно снова скользит меж лесистых склонов фьорда к затерянным долинам, где он продолжит большую детскую игру в поисках дрейфующих деревьев, поначалу я долго пребывал в грустной задумчивости, но постепенно мной овладело другое, более светлое чувство: меня вдруг охватила новая, какая-то неожиданная вера в человечество, я был воодушевлен таким проявлением мудрости, еще возможной на этой сбитой с толку планете... Очень древней северной мудрости, англосаксонской, деятельной, полной радости, юмора и поэзии свежего ветра — прямо противоположной западнохристианской мечте о спасении, скованной вечным страхом и садомазохистским чувством вины. Да, старинная кельтская мудрость, о которой, когда приходит охота, говорит Кеннет Уайт*, хотя (никто ведь не совершенен) и не принимая на себя роль верховного друида, призванного возродить гибнущие цивилизации.

Вот они все,
Свернувшись в постели,
Жмутся к храпящим супругам.
Меня же манят незнакомые страны,
Новые земли, моря, океаны,
Я странствую точно Улисс...

Мак-Дермид

(шотландский поэт,
цитированный Кеннетом Уайтом)

* Кеннет Уайт (р. 1936) — шотландский поэт и писатель, академик.

2020

Когда все вокруг так бурно обсуждали, чем же закончатся переговоры об окружающей среде*, я вспомнил, как пятнадцать лет назад газета «Либерасьон» попросила многих знаменитых авторов написать, какими им видятся 2020-е годы во Франции. Больше других меня в то время ошеломило сочинение Леклезио, а именно то, как он описал Бретань.

По всему бретонскому побережью на многие сотни метров протянулась полоса, названная «заброшенной землей». Она огорожена колючей проволокой и со всех сторон охраняется часовыми, никого не подпускающими к берегу. Оттуда идет невыносимая вонь, а бывшие пляжи и скалистые бухты покрыты толстым слоем зеленоватых водорослей, которые едва колышет волна прибоя... То же творится по берегам и устьям рек.

Однако когда я недавно съездил в Кемпер, то понял, что картина, нарисованная Леклезио, отнюдь не видение паникёра, все к этому ведет и однажды именно так и будет. В частности, могу утверждать, что многочисленные свиноводческие и птицеводческие хозяйства процветают как никогда и продолжают выливать тонны навозной жижки в реки

* Ряд политических встреч, проходивших в 2007 г. во Франции, на которых обсуждалось состояние окружающей среды и его дальнейшее развитие.

благодаря квотам на загрязнение окружающей среды, предоставленным властями, которые панические боятся возможного недовольства фермеров и не осмеливаются требовать соблюдения закона — и все это вопреки многочисленным ультимативным обращениям европейских организаций. Я также подтверждаю, что там уже невозможно пить воду из-под крана, а использование пестицидов не ограничено никакими запретами. Например, в нескольких километрах от Гильвинека — крупного рыболовного порта Франции — существует огромная цветоводческая ферма, которой руководят голландцы. Они выращивают тюльпаны и не только поливают свою продукцию огромным количеством пестицидов, но и в таких масштабах расходуют запасы грунтовых вод, что вода там того и гляди сменится на морскую.

Впрочем, что касается воды, местных жителей призывают — с помощью насквозь демагогических пропагандистских кампаний, необходимых, чтобы создать впечатление, что этим вопросом действительно занимаются, — снизить потребление воды, в то время, как совсем нетрудно подсчитать (если действительно этого захочет), что для разведения свиней в больших масштабах требуется по восемьдесят литров питьевой воды в день на каждое животное (для питья и мытья), а свиноводческие фермы (которых в Бретани великое множество) насчитывают по несколько тысяч голов, и многие производители постоянно хитрят и не соблюдают квоты на содержание животных. (Не говоря уже о низком качестве ветчины, которую они производят, и совершенно варварских концлагерях для животных.)

Все это сказано, с тем чтобы выразить мой пессимистический взгляд на состояние окружающей среды.

Главная проблема, насколько я чувствую это вокруг себя — скажем так, в настроениях современных французов, — в том, что никто не желает, чтобы его беспокоили этими фактами, которые очерняют прекрасный образ прогресса, созданный для нас учителями в школьные годы. Никто не хочет признавать, что нас попросту одурачили и заставили принимать желаемое за действительное. За время нашей учебы никто не рассказал нам об элементарном законе равновесия, который действует, как в мире материальном, так и духовном, и который можно выразить простыми словами: если в одном месте прибавилось, в другом месте убыть должно; наши ученые-изобретатели с детским восторгом увлекаются преимуществами прогресса, но никто ни единого раза не удосужился подсчитать возможные негативные последствия. Что позволило великому психоаналитику Хэвлоку Эллису разочарованно заявить: «То, что мы именуем прогрессом, не что иное, как замена одного неудобства другим».

К слову о равновесии, на днях я отыскал в своих записях отрывок из одной очень старой книги*, между героями которой — китайцем Эботом и американцем по имени Бивен — зарождается дружба.

Как-то раз Эбот принес в корзинке все для рагу по особому рецепту и проявил себя отличным поваром, что, впрочем, не помешало ему беседовать с сидевшим на табуретке Бивеном о разных высоких материях. Китаец говорил, что у него на родине, по крайней мере, до сих пор, люди довольствовались тем, что есть, а янки всегда страстно желали перемен. На что Бивен коротко отвечает: но пере-

* Ллойд С. Дуглас. «Спорная поездка». (Примеч. автора.)

мены должны быть, чтобы был прогресс. И если бы его побудили продолжить, он наверняка бы сказал: где перемены, там и прогресс. Такой образ мыслей заложен в нем с детства.

Но китаец, глядя на него, скептически улыбается. В том, что гордо называют прогрессом, он не видит особенных перемен. И свою точку зрения он умеет в одной фразе, уже упомянутой выше: в одном найдешь, в другом потеряешь. Вот что он говорит:

Возможно, новые достижения в хирургии и спасут в Мичигане дюжину жизней, но столько же будет потеряно после изобретения автомобиля. Благодаря самолету важные люди быстрее совершают сделки, но авиация перевозит и новые смертоносные машины. А потому ничто не меняется к лучшему.

Интересно то, что этот закон равновесия был сформулирован в XIX веке американским философом Ральфом Уолдо Эмерсоном, и, возможно, это говорит о том, что Китай и Америка, хоть немногого проникнувшись культурными традициями друг друга, могли бы найти много общего не только в безудержном росте потребления.

Увы, если честно, лично я нисколько в это не верю. Мир техники и промышленности — такая тяжелая машина, и ее сила инерции столь велика, что попытка остановить ее быстрое продвижение в конце концов оказывается тщетной, и, скорее всего, именно она повлечет нас за собой к относительно скорому концу. Стоит ли говорить, что глобальное потепление (которое некоторые еще отрицают!) имеет скверную тенденцию постепенно нарастать?

Лет двадцать назад социологи собрались (кажется, в Мадриде), чтобы обсудить вопрос о самоограничении, этические комитеты рассматривали

возможность замедления слепой гонки за техническим прогрессом (во всяком случае, сделать паузу, чтобы немного подумать). Однако в конце концов, социологи пришли к грустному и пессимистичному выводу (в виде так называемого закона Габора — по фамилии того, кто сформулировал его в заключительном отчете), что научно-техническое сообщество не представляет, как можно избежать очевидной установки: «То, что возможно сделать, обязательно будет сделано!» без малейших этических ограничений и каких-либо предосторожностей. Иными словами, ничто не помешает исследователям в лабораториях проводить самые невообразимые генетические опыты, наихудшие биологические манипуляции и самые скандальные эксперименты в опаснейших областях — все это, само собой, под эгидой борьбы за здоровье людей, заботы о голодающих и других лживых предлогов... Тогда как всем понятно, что им важна лишь та захватывающая виртуальная игра в лабораториях-цитаделях, надежно отгороженных от внешнего мира (более того, от мира природы*); они столь же слепы и глухи, как дети, увлеченные видеоиграми; наконец, не говоря уже об их упорном нежелании знать о немедленном применении (порой потенциально катастрофическом) их открытых всевозможными спекулянтами, стоит им только о них прослушать.

Ученый вкалывает день и ночь у себя в лаборатории, чтобы изобрести новый вид горя.

Джек Керуак

* Что кажется мне еще более страшным — если дело обстоит действительно так, — а это уже другой серьезный вопрос... не столько то, что они надежно отгородились от мира природы, сколько то, что они используют его, как площадку для своих опытов и экспериментов. (Примеч. автора.)

Но последнее слово предоставляется философу Жюлю де Готье*:

Путем практического применения своих достижений наука открывает в социальной жизни такой простор для развития промышленности, техники и торговли, а также всевозможного стремления к выгоде, что под видом улучшения жизни она скрывает угрозу осушить источники радости.

ВСЕ В ПОРЯДКЕ!

Было уже довольно поздно.

Я остановился на красный у светофора напротив Оперы и невольно оказался рядом с одним из этих внушительных, сверхшикарных мотоциклов, которые появились несколько лет назад и помимо обтекаемой формы и множества задних и передних фар снабжены многочисленными мигающими огоньками, аксессуарами (полезными или нет, но целиком хромированными и очень стильными), целой кучей удобств, таких, как маленькие подножки, спинка для пассажира сзади, ящики, выдвижной мини-бар со штопорами и открывалками, видеэкран, встроенный в спинку переднего сиденья, да мало ли что еще... но прежде всего и, конечно, самое главное, мощная стереосистема, на всю катушку — слушай-не хочу — игравшая какую-то адскую музыку для редких изумленных прохожих пустынного бульвара...

Верхом на мотоцикле сидел благородный наездник, с ног до головы облаченный в черную кожу, в куртке с заклепками, остроносых сапогах искусственной отделки, непроницаемых очках и с элегантно стриженней, с проседью, бородой (не без легкой нотки нарочитой небрежности...), все это венчал роскошный шлем цвета синий металлик, блестевший в лучах фонарей. Немного смущившись оттого, что пришлось остановить рядом с этим ослепительным чудом техники свой нелепый помятый мопед, у ко-

* Жюль де Готье (1858–1942) — французский философ, автор термина «бовариизм».

торого единственная задняя фара начинает мигать ни с того ни с сего (на мне был весь заляпанный армейский плащ и шлем, купленный на барахолке в Монктре, то и дело сползший набок), я постарался как можно незаметней проскользнуть вдоль тротуара.

Однако, остановившись и в общем-то не зная, как себя держать, ведь, несмотря на разительный контраст между нами, мы сидели бок о бок на своих железных конях, я отвернулся и притворился, что разглядываю какую-то архитектурную деталь дома на бульваре. Но несколько мгновений спустя любопытство — один из немалых моих пороков — взяло верх, и я бросил уважительный взгляд на внушительный экипаж, громко ревевший рядом со мной.

И вот тут-то, повернувшись ко мне, мой сосед сказал:

- Не мешаю?
- Э-э... нет-нет... нисколько.
- Все нормально?
- Ну да...
- Вот и ладно, а то нельзя ж так людей игнорировать!

И когда я уже готов был рассыпаться в туманных и витиеватых оправданиях, дабы развеять подозрения в своем недовольстве, загорелся зеленый свет и благородный наездник так резко рванул вперед под неистовый рев бешеного мотора, что, когда я раскрыл рот, он уже почти скрылся из виду.

ЕСТЬ ЛИ У БЕЛОК СОВЕСТЬ?

Расставляя книги в шкаф наверху в сарае, я увидел, что побывавшая здесь садовая соня погрызла книгу Андре Ламанде «Веселая и праведная жизнь Монтеня» и устроила в ней нору.

Когда знаешь о великой «звериной» любви Монтеня, его глубоком почтении перед тем, что он называл животной мудростью, можно лишь восхищаться необычайным чутьем маленького грызуна, который избрал именно эту, а не какую-нибудь другую книгу своим убежищем.

Три дня назад, когда я завтракал на террасе, какой-то настойчивый звук — будто кто-то пилил дерево — вывел меня из задумчивости. Постепенно до меня дошло, что это какой-то зверь, я на цыпочках подошел к орешнику и где-то на верхней ветке увидел белку, деловито грызущую орех.

В тот же день после обеда, когда я повесил новый индийский гамак под одним из дубов, растущих вокруг дома, и погрузился в чтение «Апологии Раймунда Сабундского», меня отвлек частый, настойчивый и очень звонкий стук зеленого дятла прямо над моей головой на стволе дерева, одна из крупных ветвей которого физически поддерживала мою философскую праздность. Это показалось мне своеобразным призывом к порядку, исходившим не только от окружающего меня мира, но и следующим из самой книги. И если хорошенько подумать,

эта мысль не была такой уж абсурдной, если учесть, что Монтень без конца советует с вниманием относиться ко всему новому, небывалому в нашей жизни (к чему зачастую, если внимательно присмотреться, нас приобщают животные) и в соответствии с этим менять наш взгляд на жизнь. Без влияния Монтеня я бы вряд ли отнесся к несвоевременному появлению зеленого дятла с юмором.

Вчера очень рано утром мы с Ж. прервали завтрак, чтобы полюбоваться красавицей белкой с роскошным хвостом, которая избрала своим домом наш сад и таскала у нас орехи.

Изумленно и зачарованно глядели мы, с какой ловкостью и быстротой прыгает она с ветки на ветку. Зверек почти ни разу не остановился, разве что на секунду — быстро оглядеться по сторонам, будто что-то его страшно тревожило...

Мы вернулись к своим кофе и чаю, но Ж. казалась чем-то озабоченной, на ее лице появилось выражение какой-то глубокой вечной тревоги... которое я так хорошо знаю.

Она сказала:

— Думаешь, белки живут в постоянном страхе?

На что я ответил:

— Да, не только в страхе, но и, надеюсь, с чувством вины.

ПРИСЛУШИВАЯСЬ К РАДИОУДРОСТИ...

Этим утром по радио выступал итальянский философ-революционер, которого правительство его страны подозревало в подстрекательской деятельности для красных бригад, за что, насколько я понял, заключило его в тюрьму на пять лет.

Когда журналист спросил его, что он сегодня думает о терроризме, тот долго распространялся о том, что всегда этому противился, считая, что экзальтированная интеллигенция действует по принципу принуждения, хочет все изменить, не считаясь с «людьми из народа», заставить «массы», не спросив их мнения, и т. д.

Меня в который раз изумила глубочайшая наивность этих мыслителей-гуманистов, продолжающих употреблять слова «люди», «народ», «массы», ни на секунду не задумываясь о том, что в основе построения таких концепций есть нечто несбыточное.

Развивая свою мысль, философ пояснил, что истинная революция должна произвестися от всего народа, а вовсе не от какой-то элиты. И тут я вновь убедился, насколько наше представление об исторических событиях может меняться в зависимости от источников, из которых мы о них узнаем. Можно ли называться философом, если не подвергать феноменологическому переосмыслению свои самые твердые убеждения? Можно ли

с уверенностью сказать, что французские и русские революции были организованы народными массами? Можно ли пренебречь тем фактом, что этими так называемыми народными массами так легко управлять? Разве можно быть уверенным в том, что ловкость агитаторов и вождей (какими мы их себе представляем) не сыграла тут большую роль?

Лично мне кажется очевидным, что восстания, увенчавшиеся успехом, большей частью обязаны таланту тех, кто их организовал. Я всегда считал идеализмом и утопией миф о «народном возмущении», которое вспыхивает как бы само по себе под давлением обстоятельств, этакий «спонтанный взрыв». Такое, конечно, иногда происходит, но мне кажется, что в странах, называемых цивилизованными — где господствует «цивилизация» и конформизм! — угнетатели могут угнетать сколь угодно долго и жестоко, прежде чем встретят хоть какое-то сопротивление, особенно если это угнетение подастить и действовать с коварством и ловкостью — что можно ежедневно наблюдать, сидя перед телевизором в ритуальный и священный час новостей.

Меня также удивило простодушие образованного мыслителя, действительно изучавшего историю великих революций и продолжавшего воображать, что в стабильном обществе коренные изменения могут произойти в один прекрасный момент, без поддержки, от принудительного воздействия. Учитывая естественную инертность этого самого общества, как только мы захотим изменить что-то в его устройстве, не придется ли нам в определенный момент (и скорее основательно, нежели слегка) поколебать его устои? Однако если прибегнуть к насилию, не говоря уже о терроре — человече-

ство смогло в этом убедиться во время принудительных революций, особенно прошлого века, — это неизменно приводит к последствиям не только непредсказуемым и катастрофическим, но и противоположным поставленной цели! Хотя с другой стороны, когда принимаешь данное общественное устройство, каким бы неправедным оно ни было, лавируя и пытаясь мало-помалу его изменить, понемногу сделать его лучше, это обычно кончается тем, что на смену приходит нечто гораздо худшее, обманув всех своей маской...

В целом получается неизбежный порочный круг, апория*.

По моему мнению, самый верный взгляд на процесс революции высказал Анатоль Франс в своем гениальном произведении «Боги жаждут». В нем отражен жестокий, бесчеловечный характер известного периода, именуемого Террором, и его неизбежность, порожденная равнодушием привилегированных классов по отношению к низшим.

Пока многоречивый гость продолжал заливаться соловьем, я задал себе вопрос — вполне соответствующий моему темпераменту, — а не пора ли, раз уж на то пошло, снова попытаться почти ничего не делать или, скажем, попробовать тактику более хитрую и лучше приспособленную к современной мировой реальности: а именно ограничиться тем, чтобы напомнить великим мира сего об их долге перед малыми?

Иными словами, не является ли единственной возможной и вероятной профилактикой для этой странной планеты — абсолютно вычурной и безрассудной — осознание обеспеченными людьми

* Апория (от греч. *aporia* — затруднение, недоумение) — трудноразрешимая проблема, связанная с противоречием между данными опыта и их мысленным анализом.

своего морального долга облегчить участь обездоленных и насколько это возможно организовать экономику по принципу приемлемого распределения в пользу последних? Что, заметим мимоходом, и являлось моральным кодексом аристократии прошлого до тех пор, пока она не испортилась от чрезмерной цивилизации. И в этом смысле Жан-Жак Руссо лишь обрисовал положение вещей, весьма вероятно во многом обязанное версальскому двору и тщеславному и одержимому манией величия Людовику XIV, которого некоторые считают истинным виновником деградации дореволюционного французского общества.

Остается только понять, возможно ли уничтожить несовместимость богатства и бедности. Ибо если этнологи описывают разные общества, где подобного антагонизма не существует, выходит, что великие господствующие цивилизации, такие, как наша, слепо подчинены этому роковому спаянному союзу, а следовательно, он является неотъемлемым органическим законом развития. По моему разумению антропологические исследования должны сосредоточиться на изучении психической мифологии народов как раз с этой точки зрения.

Если развивать эту тему дальше, зададимся вопросом — вероятно, успешной можно будет назвать ту цивилизацию, социальная жизнь которой будет основана на том, что богачи — чрезмерно не угнетающие и не презирающие бедняков — будут достаточно бдительны и не позволят им скатиться до нищего убогого состояния, а бедняки смогут жить и довольствоваться тем малым, что имеют? Малым, которое, если хорошенько всмотреться, зачастую щедро вознаграждается ощущимой и полноценной радостью жизни, недоступной богачам,

которые большую часть времени деградируют среди кричащей отупляющей роскоши*.

Учитывая сказанное, не такую ли цивилизацию мы имеем сегодня на Западе со всеми ее превратностями и обстоятельствами, свойственными играм одних с другими. Радиоведущий, по-видимому, в то утро разыгрывал перед наивным и великодушным итальянским философом роль — столь подходящую с этой точки зрения — признанного дипломата от правящего класса, уполномоченного даровать милостию нижестоящим и позволить им думать, что их внимательно слушают, а с их требованиями считаются.

Допуск к радиоэфиру и признание в СМИ сегодня, безусловно, великолепный бальзам, смягчающий боль мелкобуржуазного унижения, наилучший способом усыпить законное недоверие к доминирующему классу, который удивительно похож, по крайней мере для людей любознательных,

* «Бедность — страдание. Но возможно, стоит предпочесть ее нелепым развлечениям так называемых высших классов, лишенных сердца и разума. Я счастлив, что теперь свободен от этого, и собираюсь держаться от них подальше до конца своей жизни». Байрон. «Переписка» (цитирую по памяти).

«Когда я сравниваю людей наиболее противоположных состояний, я имею в виду аристократию и народ, последний, кажется, доволен самым необходимым, а другие живут в тревоге и несчастны среди чрезмерного достатка. Человек из народа неспособен творить зло, богач не желает творить никакого добра и может принести много бед. Один живет и действует среди вещей сугубо полезных, другой прибавляет к ним пагубные. Первый простодушно является пример прямоты и грубости; у второго под корой вежливости течет сок испорченности и лукавства. Народ не блещет умом, у аристократов нет души: у одного доброе нутро, но ничего снаружи; у других лишь наружность и внешний лоск. Нужно выбирать? Я не колеблюсь, я хочу быть народом». Лабрюйер. «Характеры». (Примеч. автора.)

читавших исторические хроники, на тех, кто в 1788 году красовался в салонах Версаля, не заботясь о толпе честолюбцев, нетерпение и гнев которых неизменно назревали в приемных, которых они не желали слышать и которые, однако, ускорили ход событий.

А в то же самое время так называемые народные массы продолжали наслаждаться своим недолговечным здоровым счастьем в ожидании — о чем они и сами пока не знали, — что кто-то явится рассказать об их невыносимых страданиях, что блестящие буржуазные (а иногда и дворянские) ораторы — преследующие лишь собственную выгоду или ослепленные простодушным патетическим идеализмом — соберут их вместе под лозунгами, кричащими о социальной справедливости, братстве, сияющей призрачной свободе, и раз и навсегда (как было во все последующие революции, взявшие пример с Франции) сбросят их из достойной бедности в постыдную нищету — как духовную, так и материальную.

Примеры столь многочисленны, что их скучно перечислять. Интереснее было бы попытаться выявить среди этих революций такую, итоги которой не привели к еще худшим последствиям. Однако если взять две самые знаменитые — французскую и русскую, — то первая очень скоро перешла в наполеоновскую бойню, а затем к власти вернулась самая расчетливая буржуазия (та, что доведет торжество капитализма и индустриализацию до крайности), а вторая после долгого периода беспримерной тирании тоталитаризма (сопровождавшейся бесчисленными убийствами, высылками и возвратом к самому гнусному массовому рабству*)

* Разумеется, я имею в виду ГУЛАГ. (Примеч. автора.)

завершилась созданием наихудшего мафиозного государства из всех когда-либо существовавших на земле.

Но в то утро на радио знаменитый философ искренне и с воодушевлением отвечал на вопросы, охотно обсуждал свои прошлые ошибки и пытался развивать совершенно новую теорию возможного социального улучшения путем постепенного осознания, что «люди» (эта магическая категория) должны воздействовать на собственную отчужденность — разумеется, без всяких уточнений насчет того, какими средствами этого достичь. Как сказал юморист: «Обожаю теорию за то, что она освобождает от перехода к практике». Продолжая, однако, размышлять об этой щекотливой проблеме перехода к практике и к месту событий — ярких и трагических, — свидетелем которых стал прошлый век, мне вспомнились слова из книги братьев Таро*, которые я привожу здесь по памяти:

У подобных режимов есть неизбежное свойство взвывать к сознанию народных масс, учреждать бесконечные контролирующие органы и быстро создавать новый привилегированный класс, еще более многочисленный, испорченный и бесполезный, чем прежний.

* * *

В другой раз, также по радио, которое я за городом слушаю очень часто, была передача о «Загадочном Арагоне».

* Жан (1877–1952) и Жером (1874–1953) Таро — французские писатели-братья, члены Французской академии, лауреаты Гонкуровской премии.

Финкелькраут, ведущий, с простодушием (чеснок подчеркнутым, чтобы быть искренним) задает вопросы двум последним биографам поэта.

Все трое поражаются его «загадочной, таинственной, удивительной» двойственности, как в социальной, так и в личной жизни.

Помимо прочего, долго обсуждаются его политические противоречия, а также такие несовместимые (на их взгляд) факты, что великий писатель и романист мог быть убежденным сталинистом.

Говорится также о жалкой комедии великой любви, которую они с Эльзой четверть века разыгравали для поклонников и трагическая кульминация которой выражена в одном из последних писем (теперь опубликованных) «сообщницы», где она неожиданно изобличает роль манекена, которая была отведена ей в этом спектакле, обвиняет великого возлюбленного в такой огромной любви к себе самому, какую только можно вообразить, и заключает свое послание страшной фразой: «И даже когда я умру, моя смерть будет чем-то, что случилось с тобой!»

Далее комментаторы приводят разные оправдания гению: это из-за любви и сложностей, сопровождающих любовь к народу, женщинам и литературе, Арагон дошел до постоянного раздвоения личности, не умея примирить разные полюса своей жизни. Ни разу не прозвучало ни малейшего намека на тщеславие, честолюбие и жажду признания, свойственные «великому человеку».

И в тот же вечер моя приятельница, которой я пересказал передачу и которая долгое время была замужем за человеком таких же свойств, сказала: «Конечно, они об этом не говорят, ведь ими руководят те же чувства. Честолюбие для них — слепая зона».

На волне «Франс кюльтюр» теолого-философская передача о знаменитом доказательстве святого Ансельма*, которое, по мнению двух приглашенных (одного иезуита и профессора философии, убежденного католика), ни в коем случае не могло быть опровергнуто Кантом, так же как «многие люди» — не правда ли — судили о нем чеснок поспешно...

Это доказательство — украшение того, что они называют негативной теологией**, — состоит вовсе не в том, чтобы доказать, что Бог существует, а в том, что Он невозможен, сообразуясь с точными и верно сформулированными законами логики, подтвердить, что Бога нет. Еще более утонченная формулировка, насколько я смог понять: Бог есть то, что вечно пребывает превыше всего сущего и находится за пределами самых широчайших понятий, когда наши мыслительные способности уже исчерпаны.

Это последнее определение, которое, по-видимому, перекликается с теорией некоторых светских философов о «всеобъемлющей реальности», по-моему, прекрасно сочетается с неким мистицизмом, который иногда во мне обитает — отдельно от разочарования ближайшим будущим мира — и поддерживает мой врожденный (тем не менее слег-

* Ансельм Кентерберийский (1033–1109) — католический богослов, философ, архиепископ Кентерберийский. Обосновывал возможность доказательства бытия Бога с помощью онтологического доказательства, им же впервые и сформулированного в трактате «Proslogion».

** Негативная теология, или апофатическое богословие — богословский метод, заключающийся в выражении сущности Божественного путем последовательного отрицания всех возможных его определений как несогласимых ему, познание Бога через понимание того, чем Он не является.

ка своевольный...) оптимизм в том, что касается его дальнейшего развития. Однако, несмотря на это интуитивное необходимое согласие, я остаюсь предельно внимателен — будучи с детства не в ладах с напыщенной неискренностью иезуитов и христианским рационализмом, — чтобы точно уловить момент, когда эта абстрактная идея тайком перейдет (этакая логическая уловка, сказал бы я...) в так называемые этические последствия. Да, мне давно известно, никогда нельзя упускать момент, когда подобные мыслители ловко тасуют колоду и тайно манипулируют реальностью.

Но мелкая уловка, безусловно, срабатывает, и на нас, без малейшего намека на причинно-следственную связь, снисходит — в данном случае под действием Святого Духа! — закономерная любовь Бога, ближнего, всеобщее милосердие и т. д.

Пора мне уже прекратить свою радиопроповедь.

Внезапно мне пришло в голову, что эта передача шла сразу после передачи Рут Стегасси (слушать которую в семь утра по субботам я теперь считаю своим священным долгом) под названием «Будни Земли», где говорилось о постепенном исчезновении на планете разных видов зерновых культур и, как следствие, унификации производства хлеба. Устрашающий факт разрушительного господства единообразной индустриальной мысли (на мой взгляд, иудейско-христианское повиновение, поймите меня правильно...) в сельском хозяйстве.

И, вновь размышляя о том, что я написал выше о стратегии воинствующей технократии, которая исподтишка старается поглотить все, что ей противится, я невольно подумал, что обе передачи шли друг за другом неспроста.

С ЯСНОСТЬЮ НАРАСТАЕТ ХОЛОД

Чтобы продолжить свою утопическую арьергардную битву, я, утративший иллюзии о состоянии современного мира, сегодня утром решил призвать на помощь союзников и привести здесь речь Томаса Бернхарда, которую он произнес в 1965 году на публичном вручении одной из самых высоких литературных наград Германии, речь, которую он озаглавил «С ясностью нарастает холод».

Надеюсь, что читатели — по крайней мере, те, кто разделяет мое желание бороться (не ради победы, а ради удовольствия не участвовать в величайшей глупости, признанной нормой) с безудержной и разрушительной научностью нашей эпохи, — оценят его завораживающий, склонный к повторениям, стиль, захватывающую манеру выражаться намеками, а главное, иронию и саркастическую меланхолию австрийского писателя.

Мне кажется, что холод, о котором идет речь, сродни тому, который пронизывает нас в «Красной пустыне» Антониони. И все же я помню, что в этом фильме рассказывается одна из лучших антипозитивистских историй, которые мне известны. Мальчик спрашивает отца:

- Слушай, пап, ты уверен, что один плюс один всегда будет два?
- Совершенно уверен, — отвечает отец.
- Тогда смотри!

И мальчик приносит пипетку, в которую набрано немного воды. Он склоняется под лампой и роняет на освещенный стол блестящую каплю, которая сворачивается в шарик на гладком дереве.

— Один! — объявляет мальчик.

Потом он роняет вторую каплю на первую.

— Плюс один!

Вторая капля тут же сливается с первой, составляя с ней единое целое, а мальчик объявляет:

— Равно один!

Да, так же, как у нас нет ни единого шанса приобщиться к чудесному в том мире, который вокруг формируется, — как горько констатирует Бернхард, — нам не осталось ни малейшей лазейки, чтобы ускользнуть от данности $1 + 1 = 2$ из арифметической сетки (можно даже сказать, «сети»), поставленной между окружающей Вселенной и нашей возможной — хотя и слабеющей — фантазией. Послушаем, однако, что нам говорит австрийский мастер иронии:

Уважаемое собрание,

Я не могу довольствоваться вашей сказкой о бременских музыкантах; я не хочу ничего рассказывать; я не хочу петь; не хочу проповедовать, но это правда: сказки теперь не в моде, ни сказки о городах, ни о государствах, ни все научные сказки; даже философские; мира духов больше не существует, сама Вселенная перестала быть сказкой; Европа, прекраснейшая — мертва; такова правда и реальность, а правда никогда не была сказкой.

Еще пятьдесят лет назад Европа была настоящей волшебной сказкой. Многие сегодня живут в этом мире волшебной сказки, но они живут в мертвом мире, да и сами они мертвые. Кто не умер, живет, но не в сказках; это не сказка.

Сам я тоже не сказка, и появился я не из волшебной сказки, мне пришлось пережить долгую войну, и я видел, как умирали сотни тысяч людей, а другие продолжали жить, шагая по их трупам; все продолжается; на самом деле все изменилось; в эти пять десятилетий, когда все взбунтовалось и превратилось в реальность и в правду, я чувствую, что мне становится все холоднее, в то время как старый мир превратился в новый; старая природа в природу новую.

Жить без волшебной сказки труднее, поэтому так и трудно жить в XX веке; двигаться вперед; к какой цели? Я знаю, что появился не из сказки, и никогда не войду в сказку, это уже прогресс, и в этом разница между вчера и сегодня.

Мы живем на самой страшной территории за всю историю. Мы в ужасе, и испытываем ужас, в качестве самого чудовищного материала для нового человека и нового знания природы, ее обновления; все вместе мы в течение полувека были одной большой болью; сегодня эта боль — мы; теперь эта боль — состояние наших умов.

У нас совершенно новое устройство, совершенно новый взгляд на мир, действительно самый замечательный взгляд на мир, который охватывает мир целиком, и у нас совершенно новая мораль и совершенно новые наука и искусство. У нас кружится голова, и нам холодно. Мы думали, что потеряем равновесие, ведь мы все-таки люди, но равновесия мы не потеряли; и мы сделали все, чтобы не умереть от холода.

Все изменилось, потому что это изменили мы, внешняя география изменилась так же, как внутренняя.

Теперь наши требования очень высоки, мы не смогли бы вознести свои требования достаточно высоко; ни одна эпоха не предъявляла таких вы-

соких требований, как наша; мы живем в безумии величия; но поскольку мы знаем, что не можем ни упасть, ни умереть от холода, мы, не колеблясь, делаем то, что делаем.

Жизнь всего лишь наука, наука, полученная научным путем. Мы внезапно растворились в природе. Мы стали родственниками частиц. Мы подвергли реальность испытанию. Реальность подвергла испытанию нас. Теперь нам известны законы природы, высшие бесконечные законы природы, и мы можем изучать их в реальности и по правде. От этого у нас не меньше предположений. Теперь, когда мы глядим на природу, мы больше не видим призраков. Мы написали самую дерзкую главу за всю историю мира; и каждый из нас писал ее о себе в ужасе и смертельном страхе, и никто по собственной воле, ни на свой вкус, но согласно закону природы, и мы написали эту главу за спиной своих слепых отцов и своих безмозглых профессоров; за спиной у самих себя, после стольких длинных и пошлых глав, самая краткая, самая важная.

С ясностью нарастает холод. Так будем отныне повелевать этой ясностью и этим холодом. Наука природы будет для нас высочайшей ясностью и самым враждебным холодом, какой только можно представить.

Все будет ясно ясностью еще более высокой и более глубокой, холодом еще более устрашающим. В будущем день будет казаться нам еще яснее и холоднее.

Благодарю за ваше внимание, благодарю за честь, которую вы сегодня мне оказали.

ИНАЧЕ ТУДА НЕ ПОПАДЕШЬ!

Отрывок из моего дневника от 16 августа 2007 года.

Вчера после обеда, в этой безликой палате, где за окном застыл ряд тополей, чья неподвижность навевает тоску, где лежит моя мать, к которой подключено множество разных трубок, под носом кислородная подушка (с позавчерашнего дня ей трудно дышать), тишина этой огромной больницы — опустившей в выходной день — подчеркивает наше единение, но мы, я и она, несмотря ни на что, говорим о всяких мелочах, которые нужно уладить — это неизбежно, потому что жизнь продолжается, даже если для Жаклин в данном случае продолжается с большим трудом...

Да, вчера вдвоем, в полутьме из-за приближающейся с небесных высот грозы, сын и мать вместе в последний раз за нелепой беседой, которую мы ведем вопреки неизбежному, она лежит, почти полностью парализованная на своем смертном ложе и бормочет разные указания, а я, оцепенев от неотвратимости того, чего я желаю и одновременно боюсь, склонился над ней, чтобы разобрать, что произносит этот слабый, срывающийся голос (даже разговор утомляет ее), и мне вдруг видится классическая картина, которую мы являем собой в это краткое мгновение, которое уже съежилось подобно шагреневой коже и будет неумолимо таять с каждой секундой...

Однако, чуть погодя, успокоительное, которое ей наконец-то ввел санитар (мне пришлось просить об этом много раз — в выходной, тем более в августе, персонала в больнице очень мало), действует, мама начинает дремать, а я по ее просьбе принимаюсь долго разминать ей кисти рук и предплечья, болевшие от анкилоза.

Меня тут же пугает, как быстро пухнет ее правая рука, наверное, метастазы, хотя время от времени она, не открывая глаз, указывает мне, как и где массировать; я, как могу, стараюсь размять ее уже бесчувственные от морфина руки. И все же меня убаюкивает свист струи кислорода, который булькает над нами в склянке. Этот звук успокаивает, и я тайком наслаждаюсь передышкой. Связанные этими прикосновениями и тихим журчанием кислорода, я и она, словно пребываем между землей и небом, как во времена моего детства и ее молодости, когда она таким же массажем успокаивала мои страхи чересчур нервного ребенка...

И вдруг, наполовину очнувшись, она шепчет мне: «Не забудь положить на место ключ от гаража, а то иначе туда не попадешь!»

КАК ЖАЛЬ, ЧТО МИР НЕ СОСТОИТ ИЗ ШЕСТИДЕСЯТИ ЧЕТЫРЕХ КЛЕТОК!

Очень часто по воскресеньям яучаствую в командных шахматных турнирах. В прошлое воскресенье у нас была встреча с командой одного крупного парижского лицея.

В класс коммунальной школы, где мы собираемся, вошли двое юношей в сопровождении двух мужчин почтенного возраста (что-то вроде профессоров на пенсии), которые, почти не разговаривая друг с другом, уселись каждый в своем углу и принялись ждать, приберегая умственные силы.

Я сразу приметил одного из них, маленького горбатого старишку, щуплого и робкого, с его лица не сходила лукавая улыбка человека, погруженного в себя — как сказали бы некоторые, находясь в прямом контакте с предполагаемой высшей инстанцией, он у всех на глазах обдумывал великую универсальную стратегию — попросту говоря, восторженно и радостно улыбался...

Чтобы разогнать скуку — а еще из-за своей давнишней склонности шпионить за ближними, — я, укрывшись страницей старой газеты, которую нашел в коридоре (где, как обычно, обсуждались последние потрясения на мировой бирже), незаметно наблюдал за этим странным созданием, которого, казалось, никакой переполох не мог вывести из

себя. Я предполагал — и впоследствии, во время знакомства команд, это оказалось абсолютно верным, — что передо мной бывший профессор математики. Тем не менее, заметив, что я за ним слежу, он не выказал ни малейшего смущения и улыбнулся мне так же восторженно, как своим непонятным таинственным духам.

Так мы сидели друг против друга в молчании — столь знакомом напряженном молчании двух погруженных в себя шахматистов — в осеннем полусумраке класса, в чьих высоких окнах виднелись деревья пустынного бетонированного двора. Ветер подхватил горстку опавших листьев, те на мгновение опустились на узкий островок полустертых классиков... и время — которое тоже всегда так незаметно, — казалось, потянулось еще медленнее, будто затем, чтобы нагнать еще больше уныния, и без того свойственного классному кабинету.

Маленький горбун с непонятной улыбкой, вероятно привыкший разгонять школьную скучу, а возможно, и обрадованный моим интересом, подошел ко мне и писклявым, как у Джерри из известного мультика, голосом предложил решить шахматную задачу.

Взяв шахматную доску и коробку с шахматами — откуда достал коня, ладью и королеву, — он ловко водрузил королеву на ладью в нескольких клетках от коня, а затем пронзительным голосом осведомился:

— Какого черта королева забралась на ладью?

Я замер, пытаясь улыбаться как можно хитрее в ожидании ответа.

— Сдаешься, дружище? А все очень просто: королева увидела коня и испугалась, потому что приняла его за мышь!

И, даже не дожидалась моей реакции — под мрачные взгляды товарищей по команде, которым, как видно, надоела эта бородатая воскресная шутка, — он затрясся от смеха, как чертик на пружине. Потом внезапно остановился, как кукла, у которой кончился завод, и пошел обратно, по-прежнему улыбаясь своим мыслям, на стул у доски, где нарисованный мелом равнобедренный треугольник, казалось, открывал нам истинную причину его невыразимого восторга...

И как раз в эту минуту я увидел высоко над оцинкованными крышами безучастное серое небо, а внизу, во дворе, еще мокрые от недавнего ливня деревья, отраженные в лужах. Почему-то я вдруг улыбнулся той же блаженной улыбкой, что и старичок профессор. В конце концов, разве мир — для нас, вечных детей, — не устроен так же чудесно, как равнобедренный треугольник, как шестьдесят четыре клетки, где — если шагнуть в зазеркалье из печальной действительности — мы вскоре решимся на возможную встречу с белым рыцарем, с испуганной королевой, взобравшейся на ладью, и где-то неподалеку, что вполне предсказуемо, с садовой соней, философски уснувшей в чайнике?

ПРОФЕССОР ЛОРЕНЦ ИГРАЕТ В «ГУСЬКА»

Хотя в действительности он всего лишь работал со старыми методами натуралистов, которые в свое время использовали еще Жан-Анри Фабр и Чарльз Дарвин, Конрад Лоренц считается основателем этологии — науки, изучающей и описывающей поведение животных в естественной среде. Фактически порвав с теориями бихевиористов, виталистов и Павлова, которые в то время пользовались такой популярностью, он был — и, на мой взгляд, именно в этом его главная отличительная особенность — первым, кто так талантливо, взяв за основу свои наблюдения за животными, провел возможные аналогии, объясняя наше человеческое поведение, а именно — я подразумеваю самую знаменитую его книгу* — этот инстинкт агрессии, который постоянно зреет в человеческом обществе.

Учитывая, что все более очевидным становится зависимость научной, как и всякой другой, мысли — хотя она и пытается обороняться — от канонов интеллектуальной моды той эпохи, в которую она развивается, трудно определить, что в будущем останется от этих досужих домыслов**. Тем не менее

* Имеется в виду книга К. Лоренца «Агрессия».

** «Как вода принимает цвет почвы, которую орошает, так и продукт ума, каким бы абстрактным он ни был, содержит теории, усвоенные из своей эпохи, не исключая и предрассудков». Иоганн Якоб Бахоффен. «Первоначальный урок естественного права», процитировано Эрнстом Юнгером в книге «Автор и творчество». (Примеч. автора.)

Конрад Лоренц не только хорошенько подстегнул воображение своих современников, но и сделал это ясным и доступным языком, понятным большинству простых смертных — вероятная причина его народной популярности, — ведь он сам любил повторять, что «было бы самонадеянно думать, что то, что знаешь ты, недоступно большинству других людей».

Сегодня почти каждый знает фотографию этого высокого весельчака с седой шевелюрой и бородой, стоящего по пояс в грязном пруду в окружении серых гусей, которые, как видно, принимают его за ангела-хранителя. Впрочем, именно после этого изучения гусей он и вывел две самые выдающиеся теории: инстинктивного поведения и импринтинга.

Первая, относясь к тому, что называется филогенетической наследственностью, показывает, что животные в неволе, лишенные естественных возбудителей своих инстинктов, очень быстро усваивают искусственное поведение для преодоления трудностей. Хищник будет преследовать любой движущийся объект — например, кошка ловит подхваченный ветром сухой лист — «тень воображаемой добычи».

Вторая, феномен импринтинга (впервые описанный Лоренцом), иллюстрирует врожденное и приобретенное в поведении животных. На определенной стадии жизни молодое животное обязательно отождествляет себя с другим живым существом, каким бы оно ни было, и стремится везде за ним следовать. Природа (врожденное) велит ему следовать, а Культура (приобретенное) поможет ему определить существо, за которым следовать. Короче, если говорить о гусях, выросших в его парке, равно как и о некоторых его читателях — лишенных духовного

отца в эпоху стремительного обесценивания ценностей, — эта неожиданная возможность явилась в лице самого Конрада Лоренца.

Как бы там ни было, одна из самых, как я полагаю, поразительных вещей его главного произведения «Агрессия», это описание ритуального поведения животных.

Он пишет, что колония животных, обитающих в определенном месте и привыкших ходить к водопою одним и тем же путем — порой очень долгим и извилистым, хотя источник находится совсем рядом с их жилищем, — изменит свой привычный путь, только если, к примеру, кто-нибудь из них случайно поскользнется на грязной тропинке и, увидев воду, откроет остальным более прямую дорогу. Однако из-за нарушения ритуала колония чувствует беспокойство и нередко, походив некоторое время новым путем, возвращается к старым привычкам.

Как постоянный игрок в шахматы, я могу свидетельствовать, что большинство игроков (любители шахмат, возможно, такая же однородная разновидность, как и серые гуси) меняют привычную тактику, любимую геометрическую, пространственно-временную схему на шахматной доске только в случае благоприятной ошибки и почти всегда им это так неприятно, что они даже не радуются победе. Я даже знал одного настолько увлеченного игрока, довольно фанатичного по натуре, который, несмотря на замечания, которые все его приятели делали ему сотни раз (и он охотно соглашался), продолжал постоянно и абсолютно спокойно совершать одну и ту же роковую ошибку на одиннадцатом ходу своего любимого дебюта.

Кстати, рассказывают, что профессор Лоренц, имевший привычку ходить из дома пешком определенным, довольно извилистым маршрутом, проходя

мимо привычных любимых мест, то и дело являлся на лекции в институт Макса Планка в Мюнхене с опозданием в несколько минут. Однажды студенты посоветовали ему более короткую дорогу, и он старался по ней ходить до тех пор, пока, заметив, что профессор с каждым днем становится все мрачнее и раздражительней, они не убедили его вернуться к прежнему пути. После чего профессор вновь обрел свойственное ему хорошее настроение.

ЧАРУЮЩИЙ ПРИЗРАК СВОБОДЫ

Эту фотографию я нашел в газете «Либерасьон» от 20 апреля 1999 года и в тот же день вклеил ее в свой дневник. На ней изображен погибший во время знаменитого восстания Парижской коммуны в 1871 году. Имя его неизвестно. Таких по несколько дней оставляли на всеобщее обозрение в больнице, чтобы кто-то из близких мог их опознать. Потом их хоронили в общих могилах.

Это очень волнующая для меня фотография. У этого красивого, еще молодого мужчины с густой шевелюрой, в мундире национальной гвардии, спокойное, умиротворенное лицо, а взгляд будто полон самого сокровенного небесного смысла... может, смерть застигла его за глубоким раздумьем, когда он уже был ранен? Напрашивается вывод, что наступила она не сразу и перед его внутренним взором явились несколько ярких образов, прежде чем он окончательно потерял сознание. Видит ли он рукеек своего детства в полях, окружавших Париж в то время, лица родителей или своих детей, какуюто мелочь, заслонившую все, как во сне, или ему вдруг открылась тщета тех вещей, к которым мы так страстно привязаны в жизни? Наконец, про мелькнуло ли в нем предчувствие возможной будущей пустоты этого пьянящего призрака свободы, ради которого уже столько поколений стремились в бой и гибли, что предстоит и ему, чтобы потом, по иронии судьбы, их дети имели свободы еще меньше, чем их отцы?

Предполагаю, что, вероятно, сегодня некоторые из нас — если только не вынудят обстоятельства — глядя на результаты, которыми так полны прошедшие столетия (особенно последнее: эта гигантская экспериментальная стройка свободы!), поостереглись бы с таким же пылом броситься вслед за этим манящим видением. Однако если внимательно присмотреться, возможно, то, что в этих обстоятельствах действительно нами управляет, почти не имеет отношения к нашим сознательным желаниям, быть может, нами движут глубокие и неуправляемые импульсы из недр коллективного бессознательного?

Как мало знаем мы свои мысли!.. Да, мы знаем о непроизвольных поступках, а как насчет непроизвольных мыслей! Ведь человек, черт возьми, кичится тем, что он — существо сознательное! Мы гордимся тем, что отличаемся от ветра и волн, от падающих камней, от растений, которые растут, сами не зная как, и от диких зверей, которые всю жизнь преследуют беззащитную жертву, нам нравится говорить, нравится наш разум. Так, значит, мы хорошо знаем, что делаем и зачем? Мне кажется, что есть доля правды в мнении, которое сегодня начинает распространяться, о том, что нашей жизнью и жизнью тех, кто вышел из нас, руководят наши наименее сознательные поступки и мысли.

Сэмюэл Батлер. «Путь всякой плоти»

Если существует книга, наилучшим образом развивающая эту тему, это, несомненно, роман Анатоля Франса «Боги жаждут» (я уже упоминал его раньше), в котором во время первой Парижской коммуны 1792 года, которая переросла в террор, показана неумолимая связь событий, их чудовищный и в то же время неизбежный характер. И однако, я

с удивлением констатирую, что этот шедевр забыт. Я не мог бы рекомендовать эту книгу тем, кто хочет понять, каким образом человек, исполненный добрых чувств, но немного экзальтированный, главный герой этого романа (вначале мы целиком на его стороне, пока он незаметно для себя и для нас постепенно не превращается в кровавого монстра), мог увлечься террором во имя веры в свои идеи.

Однако если оставить в стороне злоключения неизбежных социальных утопий, а также парадоксов, которые реальность то и дело любит нам создавать, эта фотография коммунара, задумчивого в смерти, рождает во мне решающий вопрос: почему беспощадные версальцы, которые, не задумываясь, расстреливали восставших, взяли на себя труд по очереди сфотографировать всех безымянных жертв этой кровавой бойни? И вот моя гипотеза: быть может, сохраняя таким образом индивидуальность каждого, они предчувствовали (опять-таки бессознательно), что подобное установление личности, ее неповторимых черт, будет наилучшим способом борьбы с опасным холизмом*, который так давно воодушевлял народные массы и из-за которого никакие доводы не могли до сих пор побороть внезапные стихийные мятежи? Не было ли это сделано с целью постепенно привить народу массовый индивидуализм, который незаметно бы свел на нет всякое чувство первичности коллектива, всякого стихийного сбираша, и они притворились, что уважают покойных, которых на деле так презирали при жизни?

* Холизм — антропологическая и социологическая теория, определяющая социальные группы, внутри которых жизнь каждого индивидуума имеет смысл только при принадлежности к данному сообществу (Словарь французского языка). (Примеч. автора.)

Что же происходит сегодня с нами самими, с теми, кто искренне считает себя свободнее своих предков?

У меня стойкое ощущение, что мы, запертые каждый в своем грустном уголке, разобщенные (по правде сказать, узники тайной и одинокой логики того, что очень трудно назвать общением, этого золотого тельца нашего времени), отчаянно стучим по клавишам, воображая себя на связи с другими людьми, все более и более призрачными... и в то же время смутно ощущаем, что наша истинная цель — скорее попытаться отделить наше маленькоэ это от огромной безликой массы, которая захлестывает планету и не дает нам дышать... возможно, с тем же безумным желанием приблизиться к восхитительному призраку свободы, ради которого неизвестный борец коммуны — задумчивый и, вероятно, разочарованный — только что отдал жизнь!

ПЕСЕНКА О СЧАСТЬЕ, ИЛИ ВОЗМОЖНАЯ ГЛУБИНА ПОВЕРХНОСТНОГО

За городом я часто — в Париже это редко случается — слушаю радио. В молчаливом спокойствии большого пустого дома, затерянного среди таких же пустынных полей и лесов, эта связь с внешним миром обретает особую ценность. Скажем так, вдали от привычной сути я могу наконец слышать.

Вчера по местному радио звучал проникновенный голос старого крестьянина из Бургундии. Он рассказывал о крестьянской жизни прошлых лет на одиноких фермах и о характере домашних и диких животных. Больше всего в этом рассказе меня поразил — помимо значимости жизни, столь отличной для тех поколений, от которых, однако, нас отделяют всего-то несколько десятилетий (один историк и социолог недавно сказал, что мир за последние пятьдесят лет изменился гораздо сильнее, чем за двадцать веков!), — тембр голоса старого крестьянина и его манера говорить. Словно родник, журчащий в лесной глухи, он то умолкал, то звучал вновь, опять останавливался, медлил и снова продолжал говорить...

Да, этот глухой, чуть надтреснутый голос, пересыпавший свою речь давно забытыми и такими сочными выражениями, вставлявший в каждую фразу задорные междометия, меня в буквальном смысле покорил.

На деле, если взглянуть за пределы смысла, выраженного в словах (которые я, впрочем, понимал с трудом, настолько велика разница в наших словарных запасах), в них открывался смысл более глубокий: простая радость — синтетически ощущимая и поэтически понятная, несмотря на пропасть между поколениями, — которую эти деревенские жители испытывали, «живя здесь, просто здесь, среди вещей самых недолговечных, среди вещей самых бесполезных, в мимолетности дня*». В глубине этого голоса таилось веселье, свободное от нервных всплесков, оно светилось, как костер на поляне, и открывало мне лучше всех ученых речей прелесть очень древней и неискоренимой безопасности — в наши дни, по правде сказать, почти героической!

Невольно сравнивая ее с другими речами — громогласными, философствующими, вкрадчивыми, резкими, самодовольными, с металлом в голосе, — которые ежедневно изливают на нас через СМИ политики, журналисты и эксперты всех мастей, я подумал, что эта — тихо бормочущая, похожая на журчание ручейка — была тем, что многие люди пытаются выразить фразой «тихая песня о счастье». Песня, которую — если мы прекратим без конца суетиться, выключим мобильные телефоны и компьютеры, заставим замолчать громкоговорители и моторы, а вслед за ними и наши предрассудки современных и самодовольных людей — мы еще сможем услышать — несмотря ни на что! — в детской считалке, которую девчушка напевает себе под нос, посреди оглушительного рева на перекрестке...

* Сен-Жон Перс. «Изгнание», песнь V. (Примеч. автора.)

* * *

Эта история с радиопередачей заставила меня на-долго задуматься, в ней мне вдруг почудилась возможная связь с тем, что я всегда считал самым чистым в литературе.

Тональность, по которой мы с первых слов узнаем автора среди многих других — как по телефону различаем голос из сотни остальных, хранимых в памяти — иными словами, эта неповторимая индивидуальная особенность, — не в ней ли великая тайна общения живых существ, ибо, как известно тем, кто всерьез изучал силу поэтического слова, только когда звучащий голос наиболее проникнут искренностью и уникальностью личности, у него есть все шансы приобщиться к абсолюту?

Всем этим я хотел сказать, что для меня настоящая литература, та, что внутри или за пределами сиюминутного наслаждения текущих событий объединяет родственные души во времени и пространстве, берет начало не в речи и не в ораторском мастерстве, а скорее из самых глубин мировой души народов, а стало быть, неизбежно (отдаем ли мы себе в том отчет или нет) из старых, увековеченных традициями легенд, которые воображение ныне живущих «создает заново» (в прямом смысле слова), попросту говоря, тех, которые дух временирядит в новые одежды, выстраивает по-новому, не меняя, однако, его сути.

Вероятно, именно здесь в игру вступают вневременные силы, которые греки называли «эйдолами», эти частицы духовного, долетевшие к нам из прошлого и самых отдаленных пределов коллективного разума, доставив нам притягательный эмоциональный запас наших предков.

Однако, как мне кажется, запас этот растворен даже не в самом тексте, не в выборе слов и их расстановке, а в том невидимом, что мы называем интонацией голоса.

Нимфа это трепещущее,ibriрующее, мерцающее «мыслительное вещество», из которого состоят образы, «эйдолы». В нем вся сущность литературы. Каждый раз, когда пропадает силуэт нимфы, божественная материя, воплощенная в праздниках Богоявления и укоренившаяся в умах, сила, которая предшествует слову и поддерживает его,ibriрует. И как только эта сила проявят себя, форма следует за ней и к ней принаравливается, облекает ее, следя за потоком.

Роберто Калассо. «Литература и боги»*

Весьма вероятно, что животворящие эйдолы могут рассеиваться, лишь будучи призываемы самым решительным солипсизмом, который вдруг установится, чтобы просеивать на духовном ветру свои поэтические сита... Вероятно, это также незыблальное правило тяги к игре, правящее миром, тем миром, где антагонизм между единицей и множеством является движущей силой, вращающей колесо неизбежных перипетий.

Таким образом, за разъяснениями о литературе нам лучше обратиться к синтетическому — дальневосточному покорности, — а не аналитическому складу ума. И наверное, в этой связи нам следовало бы попытаться уловить то, что исходит от текста, а не его логический смысл (который всего лишь предлог или внешнее оформление), а также стои-

* Роберто Калассо (р. 1941) — итальянский писатель и издатель.

ло бы угадать нечто божественное или бесовское, скрытое в речах и в каждом слове, и, может быть, еще, в последнюю очередь, дождаться дальнейшего результата их воздействия, чтобы в полной мере ощутить размах того, что хотело вырваться наружу, но — о парадокс — в действительности существовало лишь в мельчайшей пыли языка?

А сколько слов поистине красноречивых, чарующих и в эту минуту, очевидно, решающих потом вдруг оказываются пустыми? И сколько неточных и неловких слов, напротив, открывают в дальнейшем свою скрытую силу?

Мне хотелось возродить здесь древний, дремлющий, почти утраченный инстинкт, позволяющий судить и ценить литературное слово мерой его главного, а не риторического значения. То есть попросту возродить слух, основанный на интуитивном (и относительно наивном) понимании, постараться различить в чем-то волшебную ауру самых причудливых или самых невинных слов! Короче говоря, суметь прокользнути под волной убежденности, уловить невидимое движение эйдол, явившихся, чтобы наполнить текст очень древней могущественной связью, суметь отличить то, что исходит от необычного поэтического мира — в виде порой неожиданном и непонятном — от обычной словоохотливости, красноречия, впоследствии абсолютно бесплодных.

Мне кажется, именно это отчасти хотел выразить Гофмансталь* в своем знаменитом «Письме лорда Чандоса» (которое многие считают манифестом объективной поэзии, что лежит за пределами речи, и которую слово лишь пытается заставить

звучать в самой сути вещей), и я думаю, что когда Альберто Савинио* на седьмой странице своей замечательной «Жизни Генрика Ибсена» говорит с нами о том, что он именует «Грецией», его слова перекликаются — косвенно и, скажем так, на крыльях гостящей интуиции — с тем, что я пытаюсь выразить здесь:

Под «Грецией» я понимаю такой способ думать, видеть и говорить, который разум, глаза и уши могут постичь с первого раза: который можно понять с первой мысли, с первого взгляда, с первого устремления. Под Грецией я понимаю разум перемещаемый и, в его самых законченных проявлениях, транспортабельный. Я подразумеваю такой мозг, глаз и голос, в сравнении с которым любой другой голос нем, любой другой глаз слеп, любой другой мозг всего лишь «серое вещество». Я подразумеваю ту способность — дарованную одним и отнятую у других — воспринимать жизнь наиболее остро и наиболее тонко, наиболее лирично и наиболее «легкомысленно» (наши боги легки)...

Я не говорю «наиболее глубоко», потому что ясность несет свет в самое сердце бездны и уничтожает глубину. Глубина подразумевает «темноту». Глубина остается, но меняет свойство, она меняет «освещение», а значит, меняет имя. «Ясная глубина» понятие чересчур противоречивое, лежит далеко за пределами языка и предназначено немногим. Если бы у этого слова не было дурной репутации, можно было бы сказать «поверхностность», потому что свет поднимает на поверхность недра глубочайшей из глубин.

* Альберто Савинио (1891–1952) — итальянский писатель, художник, музыкант.

* Гуго фон Гофмансталь (1874–1929) — австрийский писатель, поэт и драматург.

ПОЗЖЕ – ЗНАЧИТ СЕЙЧАС!

Если бы меня спросили, что всегда являлось тайной целью моей жизни, разве мог бы я ответить иначе, чем хотя бы раз в день приобщиться к ускользающей вечности.

Действительно, если существует нечто, чем я мог бы гордиться (в виде маловероятного и никому не нужного наследия), то это, безусловно, следующее: уметь на излете неясной мысли, в невинном созерцании или при нежданном прояснении за окном (когда птицы, истошно чирикая, возбужденно гоняются друг за дружкой от одной крыши к другой, пока пузатые облака томно скользят по послеполуденной небесной саванне...), да, как я и сказал, я могу похвастаться тем, что прекрасно умею делать вот что: очутиться внутри малейшего нечаянного восторга, затем раздуть его, как в детстве мыльный пузырь, чтобы позволить ему парить еще несколько глубоких минут, а очень повезет — то и часов, поднявшись над круговоротом неотложных дел (разумеется, делая это достаточно незаметно, поскольку хмурый верховный бухгалтер и враг пузырей отовсюду следит за нами и не любит шутить с тем, что почитает чрезмерным). Короче говоря, уметь удержать этот краткий миг равновесия на тонком и зыбком острие настоящего, да, признаюсь, мое единственное, последнее и сокровенное искусство жизни именно в этом!

Таким образом, дорогие читатели, смиритесь с тем, что сейчас я покажу вам — дабы на несколько

мгновений отвлечь от исступленной жажды информации и лживых новостей, а главное, как изящно выразилась несколько дней назад одна ведущая, чтобы «вернуть нашим дням немного былой округлости», — итак, милые незнакомые друзья, смиритесь с тем, что сейчас я представлю вам несколько выдержек из своей немного туманной книги близких мне образов:

Спуститься на велосипеде с холма мимо цветущего летнего луга, ощущая, как свежий ветерок скользит под рубашкой; неторопливо плыть над зеленоватыми глубинами озера, любуясь фантастическим незыблемым горным пейзажем над моей головой; нырнуть в речной поток в тот же миг, когда над водой пролетит зимородок, едва не коснувшись меня крылом; укрыться в бretонской бухте, пока ветер яростно бьется о невозмутимые скалы, и принимать как благословение соленые брызги; сидеть на соломенном стуле в старой церкви и чувствовать, как душа воспаряет к ангелам при звуках тенора,ющего арию *Stabat Mater* Гайдна (а поднимешь глаза и видишь, как гротески, высеченные на романских сводах, корчат гримасы, пытаясь вернуть тебя к пошлости земной жизни); ранним утром на тихой флорентийской улочке возле садов Бомболи повстречать одинокого кота и со всей ясностью осознать — не умея, однако, высказать — смысл этого незаметного, почти сновидческого явления: он, мифологический в моем представлении зверь, и я, мифологический герой моей личной ничтожной саги, — лишь патетически взаимозаменяемые, мимолетные тени у великого поворота, который неизбежно влечет нас обоих к неделимому целому! Рассматривать крохотного персонажа внизу справа на картине Хоббема, который в свою очередь наблюдает за детьми, играющими на лужайке близ Харлема в XVII веке... и... в этот дождливый день, когда ливень немилосердно

хлещет по окнам музея в Брюсселе, где я стою у висящего на стене полотна, вдруг подумать о том, что я только что незаметно для себя примкнул к давней череде праздных наблюдателей (и немножко шпионов), которые передают эстафету сквозь время и уже с радостным трепетом предчувствуют на себе взгляд будущего созерцателя; утром вырезать из журнала репродукцию, затем повесить ее на стену у окна над цветком в горшке и поздравить себя с тем, что удалось придать больше смысла грядущему дню; долго в сумерках наблюдать, как разгоряченные юноши несколько беспорядочно (на мой профессиональный вкус) гоняют мяч на берегу безмятежной реки; на мгновение приковать к себе взгляд женщины (у которой нет ни времени, ни желания полюбить меня в этой жизни) в рассеянном свете бара, в полночь, среди шуток и сигаретного дыма, и помечтать о том, какой могла быть наша любовь при других обстоятельствах; отыскать в старых записных книжках и надолго задуматься над стихотворением Гофманстадля «Надпись на часах»:

Явилось и исчезло, прόчъ ускользает час,
Мгновенье испарилось, как вздох, и вздохом стало,
Но каждое из них в душе моей осталось,
Навеки воплотив бессмертное Сейчас!;

задержаться еще на несколько долгих мгновений у окна кабинета (глядя, как быстро мелькают ласточки по серо-синему небу), и в эту минуту расслабленного забвения — перед тем, как с головой погрузиться в деятельность дневной жизни — осознать сверкнувшую и тут же угасшую мысль, что позже — значит сейчас!..

ИСКУССТВО ПРЕДОСТАВИТЬ СЕБЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ, ИЛИ МУЖЕСТВО ПЛЫТЬ ПО ВОЛЕ ВОЛН

Сегодня утром мне захотелось перечесть мастера Тайсэна Дэсимару, и я еще прочней, чем обычно, укрепился в мысли, что японский дзен (такой, каким его видел Алан Уотс*) противоречит самому себе, но, главное, серьезно отклоняется от китайской философии чань, из которой он вышел.

Например, мастер Дэсимару отвергает дух игры, спорта (тут он подразумевается в чистом, немотивированном значении) во имя общей практики искренности и истинности бытия, которых, по его мнению, требует дзен. Практика, которая, таким образом, должна быть напрямую связана не только с повседневной жизнью (то есть с нашими самыми незначительными делами и поступками), но, главное (и он на этом настаивает), в перспективе быть готовым в любой момент взглянуть смерти в лицо.

По моему скромному мнению, подобное мировоззрение скорее ближе к боевому и военному японскому искусству, чем к изначально юмористическому и гибко реагирующему на обстоятельства (фантастмагорические или реальные) взгляду, развитому чаньскими отшельниками древнего Китая, которые в их концепции мудрости и связанного с этим дей-

* Тайсэн Дэсимару (1914–1982) — японский буддийский учитель дзен-школы Сото-сю; Алан Уилсон Уотс (1915–1973) — британский философ, писатель и лектор, известен как переводчик и популяризатор восточной философии.

ствия гармонично сочетают даосские и буддистские принципы. Этот отказ от игры, от «притворства», это бескомпромиссное стремление к истине, к при- нудительной серьезности, чье огромное влияние на пуританский мир Запада (особенно в Америке) можно понять благодаря его садомазохистскому разма- ху, кажется мне признаком врожденного подсозна- тельного желания повелевать, глубинной тяги к вла- сти над противником и обузданию природы (своей и чужой) путем утверждения превосходства собствен- ного «я», что гораздо больше подходит военно-наци- оналистскому японскому империализму, чем следо- ванию «ходу вещей» древних учителей Китая.

Мне действительно кажется совершенно иной жизненная концепция, вытекающая из поэзии, жи- вописи, а также занятий и поступков — в том виде, в каком донесли их до нас предания, — древних от- шельников и полуотшельников чань, стремившихся избегать чрезмерной занятости, отдавая предпочтение простым сиюминутным радостям — пощутить и выпить рисового вина в кругу друзей, сыграть пар- ту в маджонг, с песнями прокатиться на лодке или полдня подставлять ветру воздушных змеев — про- стота, суть которой следовать циклическим повторе- ниям, которые они угадывали с первого взгляда в природе, в небе и в себе самих. Для них это значило следовать течению жизни (что они называли «ходом вещей»), и конечной целью адепта учения чань было овладеть тем виртуозным искусством, которое позво- ляет — предоставив себя обстоятельствам — никогда не терять ощущения космического ритма — иными словами, синхронизироваться с энергией, которая движет Вселенной, — «образ» (согласно «Книге Пере- мен») кормчего, ведущего корабль вниз по широкой реке, которому хватает немногих, но очень точных движений, чтобы держать курс по течению.

Однако, рискуя вызвать удивление, я хотел бы сказать, что мне всегда казалось, что эта мысль или, скорее, эта форма природной мудрости уже давно (неосознанно) существовала в театральном искусстве Запада, прежде всего в комедии или тра- гикомедии, а еще позднее в хорошо понятной прак- тике игр и спорта — такой, какой попытался ее ут- вердить барон Пьер де Кубертен. Вернее сказать (но для этого нужны более веские аргументы, которых я не могу привести в этом кратком размышлении), я считаю, что было бы очень интересно рассмотреть — в свете нашего западного мышления — принятие и охотное активное участие в некоторой форме смеш- ного — индивидуальной и коллективной. Индиви- дуальной в виде шутов, клоунов, паяцев, арлекинов и коллективной в отказе — пусть даже и мимолет- ном — от доксы*, от неизбежного невольного вкла- да (неизбежного для тех, кто не прячется от теку- щей жизни) в соответствие окружающей глупости. То, что классический театр ставит своей почти те- рапевтической целью заставить нас понять и при- нять, безжалостно насмехаясь (как Мольер) над вечным триссотинизмом**. Согласиться на роль — в

* Докса — общепринятое мнение; термин риторики, возникший в Древней Греции.

** Триссотен — комический персонаж, выведенный Мольером в «Ученых женщинах», как и Тартюф, имя нарицательное, однако по своей этимологии означает скорее глупца, а не педанта, каким представил его Мольер. «Г-н де Мартиньян не триссотен. — С виду, нет; форма меняется; триссотены наших дней смекалистей, представительней, значительней». Скриб. «Пуф», III, 5.

Триссотинизм — характер, глупость Триссотена. «В раз- говоре, как бы ни были собеседники благородны, можно услышать, что вас одолел триссотинизм и что вы в нем по- грязли». Сент-Бёв. «Новые понедельники», т. II. (Словарь французского языка.) (Примеч. автора.)

какой-то момент неизбежно нелепую в глазах противника, — которую уготовила нам судьба, умерить свою гордыню, превратить в спектакль собственное неискоренимое тщеславие, ведь это в каком-то смысле любительский, спортивный и трагикомический способ следования «ходу вещей»?

Кроме того, специалисты по древнему Китаю говорят (и первый среди них Франсуа Жюльен в таких актуальных произведениях — заглавия говорят сами за себя! — как «Похвала пошлости» или «Мудрец размышлять не любит»), что настоящих мудрецов заметить трудно и они ни в малейшей степени не стремятся к этому званию, зато разделяют (по крайней мере, внешне) предрассудки и заблуждения своих современников до тех пор, пока им вдруг не придется им возразить каким-нибудь невинным и слегка удивительным поступком или тихим, но интригующим словом (которое при дальнейшем рассмотрении окажется дальновидным), и тогда потребуется особенная внимательность, дабы понять, чем может быть поучителен этот внезапный всплеск — язвительное бормотание, вежливый, но твердый отказ, молчание или же (если молчание покажется им чересчур нарочитым) какие-нибудь обыкновенные слова, чья невыразительность призвана смягчить взрывоопасность содержащегося в них смысла (ибо, разумеется, как без конца твердит учение дао, «Желающий блестеть не дает света»).

И действительно, истинные мудрецы чань, как и наши трагикомические клоуны, без всяких внушенений и поучений выражают свое недоверие (без отрицания, что было бы чересчур радикально, неэффективно и недостаточно по-игровому) слишком строгим логике и рационализму, а также напыщенному красноречию, в которое они обычно заверну-

ты, — их главная цель, повторюсь, оставаться на прямой связи с энергией, управляющей миром, плыть на ее волне, и, как хорошо сказал Франсуа Жюльен, объясняя естественную склонность китайцев к скрытой пользе:

...если вмешаться в нужный момент, то, к чему мы стремимся, слиаясь с ходом вещей, попадает в сеть благоприятных факторов и естественным образом выходит наружу без того, чтобы нам пришлось этого желать, рисковать, упорно трудиться и вообще прилагать усилия.

«О времени»

В реальной жизни все выражается в виде вмешательства или невмешательства во что бы то ни было. С одной стороны — построение фразы, тип выбранных слов, с другой — очертания жеста или особенное молчание, которое для того, кто умеет слушать, из сочувствия подскажет, как себя вести. Отшельник чань говорил обычно, что, отказывая иным в учении, он все-таки учит их чему-то важному. Со своей стороны, философ Эмерсон, когда насмешливые современники спрашивали, чему же его научили философские книги, отвечал: «Прежде всего они научили меня молчать в обществе таких, как вы».

Одна короткая басня прекрасно иллюстрирует легендарную поучительную сдержанность мудреца, который «не любит поднимать шума». Рассказывают, что в стародавние времена в Индии в уединенном месте на берегу реки в ветхой хижине жил одинокий старик. Он ловил рыбу, выращивал овощи, пел и играл на цитре, читал старые книги, иногда напивался допьяна и читал стихи, а окрестные жители взяли в привычку ходить к нему, потому что он мог дать прекрасный совет и словно невзначай

говорил очень мудрые и своевременные слова. Шли годы, и молва о старике в хижине разлетелась широко, его стали навещать чаще, а некоторые приезжали издалека. И вот кое-кто из его почитателей собрались вместе и задумали построить ашрам не-подалеку от дома старика. Тогда начались подготовительные собрания, комитеты, затем, разумеется, пошли разногласия, борьба за власть и, наконец, всякие несчастные случаи на стройке — вся команда была очень занята масштабным проектом. Однако с грехом пополам через пять лет здание было закончено. Архитектор со своей командой отправились делегацией на берег реки, чтобы пригласить старого мудреца (чьим именем был назван ашрам) на официальную церемонию открытия. Но каково же было их удивление, когда они увидели, что хижина разрушена, а старик исчез. На берегу рыбачил какой-то мальчик, бывший, как видно, из этих мест. Когда к нему обратились, он ответил:

— А-а, старик, который жил в хижине... уже три года прошло, как он исчез!

СТАРОЕ ВРЕМЕЧКО

Перечитывая некоторые главы этой книги и понимая, что она вполне могла называться «Досужие рассуждения о приметах времени», я не могу не сказать о том, что Александр Виалатт в своих колоритных «Хрониках горы», в свою очередь ссылаясь на ныне забытого автора Анри Пурра* (ведь литературу, которую я люблю, составляет цепочка родственных друг другу писателей), называл «старое времечко».

Для меня знакомство со «старым времечком» началось в тот день, когда я очутился в дремотном спокойствии квартиры моей бабушки Мадлен, находившейся на одном из верхних этажей на Западной улице в Четырнадцатом округе Парижа. Ребенком я приходил туда каждый четверг и, едва переступив порог, с наслаждением погружался в некоторую замедленность, которой было отмечено все вокруг. И действительно, минуты, застывшая неподвижность самых мелких предметов и даже слова, которые мы с бабушкой говорили друг другу, казалось, парили в каком-то ином, беззаботном мире. Здесь словно царила некая безвременность бытия, старомодная и обветшала, дошедшая из XIX века, когда мир был будто пронизан народной иронией, покорной судьбе, но наперекор всему жизнерадостной, которая меня успокаивала — она рассеивала глухую

* Анри Пурра (1887–1959) — французский писатель и этнолог, лауреат Гонкуровской премии.

тревогу, которую мне, легковозбудимому и чересчур восприимчивому ребенку, внушал призрак недавней войны.

Там были большие стенные часы с боем, придававшие ритм времени слаженностью старинной точной механики. Казалось, в них само время двигало шестеренки с точностью и неторопливостью опытного мастера, добросовестного и полного удовлетворения от выполненного долга. На крошечной кухне Мадлен готовила мне знаменитый шоколадный пирог с каштановым кремом, который я обожал, а я, сидя у окна, из которого открывалось необозримое пространство серо-голубых оцинкованных крыш, наблюдал за ссорами и воркующим ухаживанием неизбежных голубей, резвившихся среди труб. Потом Мадлен мне читала или в сотый раз перечитывала отрывок из своей любимой книги «Сцены из жизни богемы» Анри Мюрже*, и совершенно очевидно, что эта книга повлияла на мой характер, уже тогда неуступчивый диктату «большого времени» — времени серьезной и респектабельной жизни, где часы и минуты строго сосчитаны и измерены в деньгах и где непреложно правило — все исполнять быстро.

Да, я проводил там благословенные часы, укрытый от лихорадки «Новых времен» — на этот фильм Чаплина я ходил совсем маленьким с бабушкой, которая смеялась без устали, словно веселое беззаботное дитя, каким она и оставалась, несмотря на полную унижений жизнь старой одинокой женщины. Думаю, именно у нее я ощутил вкус к этому старому времечку, по словам Виалатта, «лежащему за пределами всякой хронологии».

* Анри Мюрже (1822–1861) — французский писатель и поэт.

У нее, а еще, я думаю, в большой кухне на ферме в Турени, куда я приезжал в начале осени после летних каникул.

Пока над равниной дули первые шквалистые ветра, я сидел у большого глубокого камина, где горели обычные три полена, чья раскаленная сердцевина казалась скорее призрачной, чем реальной, и слушал нашу кузину Мари-Рен, которая вязала на длинных спицах и рассказывала мне, моей матери и сестре, как собака дралась с утками за еду, или о приключениях под хмельком рабочего из деревни — и в устах рассказчицы мелкие происшествия обрастили чертами авантюрных и шутовских трагикомедий. Наверно, именно там — в этой школе крестьянского наблюдения за самыми малыми вещами — я впервые понял, что может извлечь внимательный взгляд из самой обычной повседневности.

Но послушаем, что же говорит об этом Александр Виалатт:

Старое времечко; ткань каждого дня; чуждое календарю, без номера в альманахе; за пределами всякой хронологии. Столь неподвластное минутам, что его можно носить с собой и найти в чемодане нетронутым стрелками часов. Это действительность на каникулах. Когда оно начинается, она уже кончилась. Именно в этом оно старо. Оно состоит из всего, что происходит, когда не происходит ничего.

...

Я лишь хочу указать, что существует множество разных действительностей: большого времени, газет и истории, ревущая на всю планету, заглушая человеческий голос. И действительность времечка, составляющего ткань наших дней. Есть большое время, рождающее вихри, и малое, которое говорит вполголоса.

лоса и ходит на цыпочках; которое всегда наполнено одним и тем же, одето в потертые одежды. Его можно принять за осколочек времени другой эпохи. То, что мы называем неактуальным, было актуально всегда. Человеку кажется, что эти два времени разнятся по своей структуре, составу, качеству, цвету, эпохе. И что малое время неактуально, потому что оно было актуальным вчера. Но оно станет актуальным завтра.

Да, по сути, я тоже хочу говорить о «старом времечке» в почти революционном смысле, поскольку в наши дни все взгляды прикованы к времени большому и чудовищно современному. И может, я даже хочу брать пример с одной знакомой одинокой старушки фермерши, которая каждый день в восемь вечера включает телевизор, чтобы «быть не одной» (как она говорит «с тех пор, как сын сломал печку и установил отопление»), но звук отключает, а когда на экране появляется кто-то, чье имя она припомнить не может, она поворачивается к телевизору спиной и спокойно продолжает чистить картошку.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ФРАНЦУЗСКИЙ СНОБИЗМ

В прошлый четверг, когда я стоял под дождем в очереди в первый вечер открытия книжной ярмарки, мне вспомнилась такая же очередь (опять же под дождем) у стадиона «Ролан-Гаррос» в день открытия. То же нетерпение, та же неприязнь толпы к младшим офицерам — те всего лишь сдерживали людей, чтобы обеспечить порядок досмотра, — которых самые нервные ворчуны тут же окрестили наемниками на службе у худшей из тоталитарных систем. Тут, скорее всего, имеет место типичное поведение мелкой буржуазии, желающей стать высшим классом. Это великий французский миф о льготах в обход закона, об очень важных персонах. Впрочем, вход, перед которым я стоял в небольшой толпе прочих писателей (толпе в каком-то смысле разочарованной... ибо каждый из нас желает быть творцом единственным и неповторимым, не так ли?), иронически именовался «входом в сераль».

Как и положено, все могучие гении, стоявшие здесь плечом к плечу в унизительной тесноте, друг с другом не разговаривали, зато исподтишка рассматривали остальных — вдруг попадется большая знаменитость (что было бы таким утешением при нашей республиканской уравниловке), — а заодно пытались оценить, способен ли их сосед разглядеть невооруженным взглядом мощный дар красноречия, носителем которого считал себя каждый из нас. Рядом со мной, также отгородившись оскор-

бленным молчанием, стояла — мне всегда везет в этом смысле — писательница по меньшей мере привлекательной внешности (если не считать насупленный вид, который привлекал меньше...). Невзирая на ее угрюмость, я робко попытался завязать разговор подходящей банальной шуткой:

— Я слышал, что во французской литературе сейчас писателей больше, чем читателей...

Девушка повернулась ко мне, окинула высокомерным возмущенным взглядом и с раздражением ответила:

— Что за чушь! Где вы услышали такой вздор?

— Кажется, согласно последним статистическим дан...

Но мне не удалось кончить фразу, потому что у нее зазвонил мобильный, и божественное создание принялось возмущенно рассказывать невидимому собеседнику о трудностях доступа в храм культуры.

Немного позднее я начал прохаживаться между стендами, где рассчитывал встретить знакомых. Со всех сторон «видные» личности изливали друг на друга обычный поток светских любезностей, и под звуки хлопающих пробок без конца повторялся внушительный список имен и цифр (имена лауреатов премий и объемы лучших продаж). Эти речи сразу напомнили мне о больших специальных кафе, где на множестве гигантских экранов высвечивались результаты скачек, розыгрышей лото и прочих подобных миражей, где каждый надеется сорвать большой куш.

Во время таких грандиозных собраний по интересам существует ныне официально принятый обычай (в общем-то вполне здравый) — и его строго придерживаются — подсознательно четко отсчитывать время (я бы сказал, с точностью до секунды), отведенное на разговор с одним и тем же человеком

(надев маску живейшей заинтересованности в своем собеседнике — который обычно объясняет вам умеренный успех своей последней книги, — одновременно тайком высматривая других личностей, с которыми было бы полезно и престижно пообщаться). Некоторые, конечно, в этом настоящие виртуозы и порхают от одного к другому — совершая мастерские пируэты и антраша, — оставляя в каждом сладкое ощущение божественной благодати, которая снизошла на них, когда они «встретили вас именно в тот миг, когда они — ну, надо же! — разговаривали о вас с тем-то и тем-то, который вас обожает...».

Поскольку тщеславие не самый малый из моих пороков, должен признаться, что я никогда не мог устоять перед обаянием таких льстцов (когда мне случалось — увы, слишком редко — становиться их добычей) и им всегда удавалось заставить меня разинуть клюв и выронить сыр...

Были, по крайней мере, два светила нашего литературного небосклона, безупречно игравшие свою роль: вдали от пестрой толпы взаимных восхвалений они снова и снова прогуливались по широкому проходу меж главных стендов издательств, погруженные в пылкую беседу, и по их проникновенным лицам угадывалось все грядущее влияние на будущее остального мира!

(Учитывая вышесказанное, в виде эпилога к этой почти театральной хронике мне хочется повторить здесь свою любимую присказку — да здравствует французский сnobизм и да продержится он еще долго! Если все же он должен быть, как некоторые полагают, необходимым противовесом, позволяющим французской культуре существовать и дальше. Действительно, не кажется ли вам, что мы одна из немногих стран Европы, где еще сохранились ма-

ленькие книжные лавки? И где (как это приключилось со мной позавчера) еще возможно завести разговор о литературе с таксистом (даже несмотря на то, что он оказался восторженным поклонником автобиографий! Что, на мой взгляд, вполне простиительно и нравится мне гораздо больше, чем если бы он по примеру своих коллег оказался поклонником «автоаксессуаров»!). А главное, скажу в заключение, если этот снобизм позволяет некоему романтизму, каким бы приторным тот ни был, бросать вызов всеобщему экономическому диктату, который при поддержке оголтелого либерализма со всей решительностью занимает позиции, до сих пор принадлежавшие любви к прекрасному.)

Post-scriptum: заканчивая эту главу, я узнал, что в воскресенье вечером книжную ярмарку пришлось эвакуировать в течение чуть больше часа из-за угрозы взрыва. По-видимому, существуют опасности и посерьезней, чем всеобщий закон рентабельности, довлеющий над тем, что скоро наверняка будут называть обветшалым «модернизмом» литературного языка.

ВСЕ НОВОЕ — ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Поскольку меня попросили представить некоторых авторов в литературном журнале Театра де ла Колин, я также был приглашен на спектакли по двум пьесам Чехова, поставленным Алленом Франсоном. Первая, «Лебединая песня», представляет собой одноактную пьесу, которая для меня всегда была одной из вершин искусства и мастерства Антона Павловича.

В ней мы видим старого актера, пережившего момент славы и спившегося, который посреди ночи просыпается у себя в уборной после попойки по поводу спектакля, выходит на пустую сцену и там случайно будит завернувшегося в занавес такого же старого театрального супфлера, которому и переночевать-то негде.

Эти двое старые приятели и оба страстно влюблены в театр. От радости, что встретились так неожиданно и никому неведомо среди ночи, они начинают в лирической русской манере декламировать стихи из великих пьес. Как всякий уважающий себя актер, старый комедиант страшный Кривляка и при каждом названии пьесы или имени персонажа разражается вдохновенной тирадой с дрожанием в голосе, а единственный восхищенный зритель при малейшей заминке готов подсказать текст или подать реплику второстепенного персонажа. Эти двое потрапанных плешивых ста-

ричков, с детским восторгом разыгрывающие отрывки знаменитых пьес поздно ночью в большом пустом театре, — очень типичные для Чехова образы, олицетворяющие великий момент поэзии и комического.

Я заранее предвкушал удовольствие со смехом и грустью от напыщенного смешного кривляния старого актера Василия Васильевича Светловидова, который сам себя называл «выжатым лимоном» и «ржавым гвоздем», и почтительную горячность суфлера, как ко всему театру в целом, так и к былой славе фигляра, бывшего его воплощением. Само собой подразумевалось — поскольку эта короткая пьеса (одна из самых коротких в репертуаре) замечательным образом возрождает традицию «театра в театре», — что их гримасы и мимика, «человеческие, слишком человеческие», обещали — учитывая участие великолепных актеров — стать наслаждением для зрителя. Однако Ален Франсон на свой лад подготовил нам сюрприз, настоящий ход мастера, такого никогда не бывало, на такое никто не осмеливался! Он решил играть пьесу в почти полной темноте: тени двух главных героев можно было различить с трудом, и зрители только слышали голоса. Я был в восторге оттого, что столько народа собрали на радиопостановку! Во всяком случае, это было просто гениально!

Конечно, удовольствие, которое я предвкушал от игры Жан-Поля Русийона (его выбор на роль Светловидова казался мне совершенно оправданным, поскольку это сулило двойную дозу кривляния — похоже, Антон Павлович это предусмотрел), было полностью уничтожено, учитывая, что лиц актеров было не разглядеть, но я так гордился своим участием в этом авангардистском новшестве и тем, что присутствую при такой явной дер-

зости, что подавил разочарование, и по примеру других зрителей — партер был заполнен самыми «продвинутыми» людьми театра — я решил, когда упадет занавес (которого мы тоже не видели, а лишь угадывали), выразить свой восторг и бурно аплодировал вместе с бесновавшейся публикой — по правде сказать, чтобы заглушить в себе робкое желание возразить, которое, впрочем, быстро рассеялось, ибо все кругом, казалось, были так счастливы побывать в крупном столичном театре ради собственного просвещения! Грех бойкотировать это чисто парижское удовольствие...

Продолжение постановки (*«Иванов»*) развивалось в том же ключе. На этот раз режиссеру пришла блестящая мысль переделать пьесу Чехова в пьесу Брехта — актеры изрыгали свои реплики с каким-то раздраженным ожесточением!.. И снова публика была в явном восторге! Окончательно осознав, что мои жалкие предрассудки о русском театре меркли перед новаторской мощью такого гения, как Ален Франсон, я решил не ударить в грязь лицом. Поэтому после спектакля я, как мог, состряпал вежливую, достаточно уклончивую фразу на случай, если мне встретится кто-нибудь из пригласивших меня организаторов (словом, я собирался, выражаясь театральным жаргоном, *complimentir** по всем правилам), но, к счастью, я никого не встретил и без лишних слов трусливо ретировался. Однако по дороге к метро мне вдруг вспомнился отрывок из знаменитого дневника (1921–1923) критика Шарля дю Боса, упоминавшего модного в 20-х годах режиссера, пресловутого Фирмена Жемье, где говорилось следующее:

* Игра слов *complimenter* (говорить комплименты) и *mentir* (лгать).

Именно в этом наши взгляды кардинально расходятся. Жемье — типичный дикарь, а в дикаре страшнее всего то, что когда он ухватится за какую-нибудь идею, то уж больше от нее не отступит. Он исповедует принцип, что народу доступно все, и я не говорю, что такого не может быть, но чтобы добиться этого, необходимо искусство в наиярчайшем своем проявлении, а вовсе не уничтожение всякого искусства — во что он верит и что практикует, — дабы заручиться поддержкой любой аудитории. Грустно то, что некоторые человеческие качества Жемье делают его невосприимчивым к убеждению. Он искренне прост, даже скромен, но увы! тем более упрям. Именно на примере таких, как он, лучше понимаешь необходимость — если есть желание вмешиваться в театральное искусство — позиции в некоторой степени скептической и экспериментальной, во всяком случае открытой. Никогда не забуду глубоко комичную сцену, при которой присутствовал в пятницу утром 21 апреля в почтовом отделении в гостинице «Коннот». Театральный критик из «Кристиан сайенс монитор» Перси Аллен попросил у Жемье интервью. Явившись на встречу с опозданием на пять минут, я застал их обоих. Перси Аллен, представлявший собой тип англичанина несколько *languid** и не без притворства, по-французски расспрашивал Жемье о его планах. Жемье немедленно изложил ему свой взгляд на Гамлета. «Персонаж Гамлета до сих пор не был правильно истолкован, поэтому он и непонятен публике. Я собираюсь показать его совершенно простым. Когда Гамлет произносит монолог, он в действительности обращается к зрителю, и потому именно в этот момент я спускаюсь к зрителю». — «Вы имеете в виду, что вы “мысленно” спускаетесь

в зрительный зал?» (Акцент, мягкость и *blandness** Перси Аллена невозможно забыть); «мысленно» — было спасительной жердью, которую он протягивал Жемье, чтобы тот не потонул окончательно; но это слово, как обычно, вызвало совершенно обратный эффект, и Жемье воскликнул: «Ничего подобного. Я действительно спускаюсь в зрительный зал, дохожу до третьего ряда партера, а может, и до шестого, а когда монолог Гамлета закончен, поднимаюсь на сцену: таким образом, как вы видите, у публики не останется никаких сомнений». После такого Перси Аллену пришлось прибегнуть к обычному в подобных случаях ответу: «О, понимаю, понимаю, это очень интересно».

И вот, припомнив эту рассказалую дю Босом сцену, пока я ехал по девятой линии, я нашел жалкое утешение в том, что наконец смог применить поговорку, которая давно вертелась у меня в голове: «Все новое — хорошо забытое старое».

* Вялого (англ.).

* Вкрадчивость (англ.).

ЧТО ТАКОЕ ДУРАК ИЗ ПАРИЖА?

Настала пора отпусков, и, поскольку, как я догадываюсь, многих из нас посетит здравое желание съездить в деревню или на море, мне кажется необходимым, после того, как я уже высказал свои взгляды на проведение досуга, предупредить туристов, которые захотят сойти за своих или просто остаться незамеченными во французской провинции, о главных ошибках, которых следует избегать.

В самом деле, если каждый без особого труда может — со временем некоторых политических событий — точно представить себе, кто такой международный дурак, и если некоторые из нас могут точно определить, что такое парижский дурак...

...достаточно, например, представить, как вы стоите на одной из улиц Марэ и объясняете какой-нибудь завороженной юной красотке теорию деконструкции Деррида (то, что вам на эту теорию наплевать, а девушка считает своим долгом притворяться, что ей интересно, не играет никакой роли) в горячем лирическом порыве прямо среди перекрестка... и тут вам раздраженно сигнализит какой-то водитель, чтобы призвать к порядку. Ну как, хороший пример? Некоторые скажут, что достаточно просто представить жителя Шестого округа, который не знает, где самые лучшие суши, или никогда не слышал о «Кафе де Флор», или

никогда не читал Филиппа Соллерса...* Но это уже тонкости местного значения, которые попросту утомят читателя.

...и так, мне кажется, существует важный вопрос, которым не могли не задаваться многие среди нас: как можно опознать дурака из Парижа?

Некоторые недавние события моей беспокойной летней жизни, возможно, подсказали мне ответ на этот фундаментальный вопрос. И здесь я выдвигаю свою гипотезу в виде забавного случая.

Не так давно, прогуливаясь без всякой цели (по своему обыкновению) по одной из насыпей в порту Кибёриона — причина моего появления там для меня столь же загадочна, как и для читателя, — я почти машинально приблизился к рыбаку, философски сидевшему с удочкой на несколько метров ниже. И тут у меня сами собой, как в каком-то безумном сне, вырвались нелепые слова:

— Сардин ловите?

Славный добродушный малый в кепке, сидя на складном стуле, поглядел на меня с глубокой досадой и, не ответив, скривился в красноречивой улыбке, чтобы вернее дать прочувствовать всю бестолковость моей шутки. В ту же секунду я осознал всю глупость, граничащую с оскорблением, которую совершил по чистой распущенности праздного туриста, и счел нужным извиниться, оправдывая свой странный поступок путанными объяснениями, которые, похоже, окончательно до-конали несчастного рыбака — в общем-то очень мирного, — который ни о чем меня не просил и изначально хотел провести чудесное тихое утро за любимым занятием:

* Филипп Соллерс (настоящее имя Филипп Жуайо, р. 1936) — французский писатель, литературный критик, эссеист.

— Ну да, я понимаю, глупый вопрос, я совершенно просто так спросил. Да, у меня иногда бывает, говорю, не подумав, поэтому хочу извиниться... я просто хотел узнать, какую рыбу вы надеетесь тут поймать, я от природы любопытен и...

Рыбак перебил меня и сказал очень мягко, но отрезвляющее:

— Честно говоря, вот уже несколько минут, как я больше ни на что не надеюсь...

До меня наконец-то дошло — по натуре я тугодум, особенно в деликатных ситуациях вечно путаюсь в словах, — что мои поползновения сблизиться с коренным населением оказались так неловки, что впредь я решил полностью пересмотреть свою стратегию и ретировался, бормоча извинения, столь же нелепые, как и моя попытка завязать разговор. Однако когда я шагал вдоль набережной, где другие рыбаки, казалось, меня заприметили и при моем приближении старались не видеть меня в упор (я это словно радаром чувствовал), во мне зашевелилось подозрение, что сейчас я блестяще исполнил роль персонажа, известного в провинции под именем «дурак из Парижа».

ПАРИЖ — ПРОВИНЦИЯ: ОТГОЛОСКИ ЯКОБИНСКОЙ НЕНАВИСТИ?

Я совершенно ошеломлен не только астрономическим числом читателей моей предыдущей темы, но в том числе и в особенности враждебностью многих комментаторов, которые — и это самое удивительное — поняли все мои выводы наоборот. Помимо суровых приговоров моему литературному стилю — тут мне, к сожалению, остается лишь признать их правоту и извиниться перед ними: я так пишу и изменить ничего не могу (разве что пытаясь снискать одобрение тех, кому мне не особенно хочется угодить...), большинство воинственных критиков усмотрели в моих словах смысл на удивление противоположный тому, который я в них вложил.

Возможно, прежде всего стоит задуматься не только над привычкой писать в СМИ двусмысленно и с самоиронией (люди явно читают слишком быстро и между строк), но и вообще об обучении чтению в современном мире. Я знал, что неграмотных во Франции становится все больше, но я не подозревал, что чтение, как занятие, докатилось до такого убогого состояния.

Однако если вдуматься, не являются ли все мы время от времени в той или иной степени жертвами таких ошибок и превратного истолкования? Не на этом ли зиждется один из законов понимания между людьми? В качестве единственного доказательства приведу недавний личный пример:

пересматривая в пятый раз за последние сорок лет фильм Висконти «Рокко и его братья», я убедился, что каждый раз смотрю его словно впервые. Например, во время последнего просмотра мне бросилась в глаза чрезмерная мелодраматичность сюжета, неправдоподобность самой истории и явная религиозно-коммунистическая развязка, и я резонно задаю себе вопрос: что ждет меня в следующий раз?

В действительности чтение и понимание текста зависит одновременно от того, насколько мы в данный момент сосредоточены, и от предварительного настроя (конкретных предрассудков и предубеждений), с которым внимаем каким-либо речам.

Несколько лет назад американские исследователи в области когнитивных наук провели волнующий эксперимент: на некоем перекрестке, где находилось много террас кафе с потенциальными зрителями, с помощью каскадеров и со всевозможными предосторожностями было устроено столкновение автомобилей. Те из зрителей, кто в дальнейшем согласился рассказать о том, что видел (или думал, что видел), должны были также дать согласие на два последовательных свидетельства: первый раз в обычном состоянии, а второй под гипнозом. Результат оказался весьма интересным, и он был таков: большинство описаний в нормальном состоянии в корне различались, в то время как под гипнозом оказалось, что все видели одно и то же. Представляю читателям объяснить (в нормальном состоянии или состоянии транса, на выбор) смысл этих странных результатов, продолжая тему, которую я назову опасностью эмоционально-устного восприятия.

На самом деле я замечал, что с большинством людей (даже с высшим образованием) достаточно обронить в разговоре выражение или какое-то понятие, которое они ненавидят, как они прихо-

дят в бешенство и уже абсолютно неспособны ни слушать вас дальше, ни вообще рассуждать здраво: они заводятся с полуоборота и разражаются проклятиями. Я замечал, что многие драки в барах начинались из-за неосознанной враждебности. Один друг-фермер, живущий от меня неподалеку, когда я привожу конкретные примеры загрязнения окружающей среды и возможного опустошения земли промышленным сельским хозяйством, горячо поддерживает меня. Но стоит мне легкомысленно обронить слово «экология», он в буквальном смысле звереет и не хочет ничего больше слушать.

Вот и другой пример: один мой друг, заслуженный писатель, как-то раз говорил мне про опечатки, которые мы допускаем, что самому их разглядеть практически невозможно (особенно за короткий срок), потому что мы всякий раз видим то, что хотели написать, а не то, что действительно написано.

Африканская пословица гласит (замечу мимоходом, что в ней скрыта глубокая критика наших наблюдений за жизнью экзотических стран, как, возможно, и всей этнологии): иностранный гость видит только то, что он уже знает.

Однако если оставить в стороне главные трудности толкования и возможного негативного отношения, можно с уверенностью побиться об заклад, что причиной внезапной резкой реакции на мой текст, по сути, является довольно серьезная остаточная проблема Франции, которую попросту можно обозвать: непреходящее французское якобинство. Действительно, в мире, кажется, мало настолько централизованных стран, как Франция, с вытекающей отсюда взаимной неприязнью и презрением между провинцией и столицей. Похоже, это противостояние началось во времена царствования Людовика XIV и создания версальского двора, он, по словам

большинства историков, вывел страну из равновесия и, вероятно, ускорил революцию — во время которой лишь обезглавили короля, но не распустили двор, который благополучно дожил до наших дней, что заставило сказать эссеиста Фредерика Оффе, автора книги «Парижский психоанализ», что во Франции любое продвижение вверх, любой успех является феноменом придворным. Такое впечатление, что нынешнее правительство умудряется еще больше усилить это якобинское, центристское (и в некоторых областях почти монархическое) господство в стране.

Все это к тому, чтобы сказать, что, обитая не один десяток лет по полгода в провинции (сначала в Турени, немного в Бретани, затем в Авероне и, наконец, в Бургундии), я с большим сочувствием отношусь к миру крестьянства, и в моей книге «Мечтатели и пловцы» довольно много текстов, в которых обсуждается то, что я назвал бы «чудовищной деморализацией французских провинций» (в особенности деревень). Немного проблем трогает меня так, как эта, и мало найдется таких, кто так же сильно, как я, не-навидиттиранию городских технократов над миром сельского хозяйства. Лет тридцать назад я лично наблюдал за реализацией абсурдного проекта по объединению земельных участков в Турени, с тех пор я с некоторым отчаянием думаю о развитии будущего мира, не говоря даже о пестицидах и повальном увлечении интенсивным животноводством, которые я считаю просто позором и преступлением против цивилизации. А все оттого, что инженеры-агрономы без всякого местного опыта решили навязать свои заранее обдуманные планы людям, которые в свою очередь не сумели извлечь пользу из дедовских знаний — гораздо более мудрых, чем знания книжные (в том числе я имею в виду уничтожение холмов, которые теперь приходится восстанавливать, чтобы

хоть немножко предотвратить постоянные катастрофические наводнения!).

Но чтобы завершить эту попытку разъяснения, мне бы хотелось закончить на менее пессимистической ноте и высказать утопическую в своей наивности мысль о том, что возможную надежду для современного мира я вижу в хорошо управляемом сворачивании экономики и в менее академичном преподавании, основанном на изучении и усилении здравого смысла (которые являлись корнем местных и традиционных способов обработки земли — и, надо сказать, в них содержалась некоторая мудрость, — прежде чем их сменили якобы научные и более универсальные методы). Стратегия, которая потребовала бы некоторого чувства меры, немного проницательности и, конечно, умения посмеяться над собой, то есть самоиронии, чего нынешние правители, кажется, катастрофически лишены.

Наши главные понятия о вещах основаны на открытиях, которые были сделаны предками в эпоху весьма удаленную от нашей и которые сумели сохраниться веками; они формируют стадию достигнутого равновесия в развитии человеческого ума, стадию здравого смысла. Другие стадии присоединились к ней, но так и не смогли ее вытеснить.

Уильям Джеймс. «Прагматизм»

Философ Уильям Джеймс (старший брат Генри) писал это в начале прошлого века, и это утверждение могло тогда служить успокоением. Я же полагаю, увы, что, если мы не начнем действовать (может, создать общество по спасению исчезающего вида?), у нас есть все шансы увидеть, как старая народная мудрость будет полностью вытеснена идеологией учеников технократических колдунов — на мой взгляд, неосознанно, но неизбежно самоубийственной.

ПОЛУДЕННЫЙ ОТДЫХ

В летние дни я больше всего люблю время, когда после полуденной трапезы я не спеша спускаюсь к понтону у реки, где под раскидистым каштаном висит мой гамак. Там я устраиваюсь поудобней с философской книгой в руках (чем непонятней, тем лучше), и десяти строчек рассеянного чтения хватает, чтобы я погрузился в так называемый поверхностный сон — очень непохожий на глубокий и тревожный ночной, — во время которого мое сознание, отяжелевшее, словно под приятным гипнозом, продолжает с глухим наслаждением улавливать шелест листвы от легкого ветерка, сложный и перемешанный разговор птиц, негромкое гудение осиного гнезда на соседней ольхе и даже легкий плеск воды вдоль берегов.

И тогда я вкушаю — наслаждение истинного отдыха — высшую роскошь полусна и полубодрствования, лучшего способа слиться со знаменным «ходом вещей», столь драгоценного для даосов древнего Китая, которые любили с точностью повторять, что для того, чтобы жить хорошо, нужно жить лишь наполовину.

Словарь французского языка так определяет значение слова «успение»: «Церковный термин. Способ, которым Святая Дева покинула землю, чтобы вознестись на небо. Церковная история гласит, что ее смерть была лишь формой сна и что она вознес-

лась на небо чудесным успением, которое празднуется Церковью 15 августа»*.

Когда мне случается думать о своей возможной кончине в эти летящие мимо года, мне всегда хочется, чтобы смерть забрала меня в виде такого успения в час моей полуденной сиесты, желательно летом, под деревьями, на берегу реки, уснувшего с книгой в руке и с блаженной улыбкой на устах... и ангелы избавят меня (на время, которое сочтут нужным) от случайностей настоящего, чтобы даровать наивысший отдых среди возможных радостей сладкой небесной летаргии.

Но еще больше, чем о христианской вере в воскрешение конкретной личности, этот блаженный миг расставания с нашим миром, этот ежедневный полуденный отдых наводит меня на мысли о языческой вере в переселение душ, и я желаю лишь одного — чтобы после более или менее долгого сна в ином мире, дух мой в момент нового явления на эту зеленую землю был бы так же свеж и бодр, как после летней дремы. И хотя я готов смириться с моим новым воплощением — человеком, рыбой, земноводным, млекопитающим, стрекозой, травинкой, — я все же молюсь о том, чтобы могучий судья позволил мне возродиться в виде любимой птички, которая время от времени (а чаще всего — заметил — когда меня покидает бодрость) прилетает, точно посланник рая, едва не касаясь воды крылом, буквально ослепляя меня фраанджеликовской синевой неописуемого оперения на спине: стремительный и несравненный зимородок! Чтобы, как он, я мог молниеносно взлететь по тоннелью прибрежных ветвей, подобно тому, как жаждущие жизни души стремятся по коридорам времени.

* По григорианскому календарю.

И теперь я буду наблюдать за кем-то отдохвающим после полудня, как он, лежа в своем гамаке, приоткроет глаз, с восхищенным изумлением приветствуя мой полет, если правда то, в чем нас уверяет суровый и вдохновенный маленький филолог из Зилс-Мария, сын пастора из Рёккена* (на которого, как говорят, оказала влияние индуистская идея о перерождении), мир без конца подчиняется жизнерадостному *da capo***, «вечному повторению одного и того же».

После обеда ложусь отдохнуть,
При пробуждении ждут меня две чашки чая
Я поднимаю глаза и на солнце смотрю,
Как оно устремляется к Западу.
Счастливый тоскует о том, что день слишком краток,
Хлопотливому длинным кажется год
Тот, кто не ведает радости и ни хлопот
В долгом и кратком следует ходу вещей

Бо-Цзюйи (VIII в. н. э.)

* Имеется в виду Фридрих Ницше.

** Da Capo (*ит.* сначала) — музыкальная аббревиатура, используемая композиторами для указания, что следует повторить предыдущую часть.

МЕЧТЫ ОКОЛО КРАСНОГО ДИВАНА

Женщину убаюкивает неумолчный, назойливый стук колес транссибирского экспресса, она задумчиво смотрит на угрюмую и пустынную русскую равнину, которая проносится за окном...

стук вечный колес, обезумевших на колеях поднебесья,
замерзшие окна,
не видно природы,
а позади
равнинны сибирские,
низкое небо,
огромные тени
безмолвья, которые то поднимаются, то
опускаются вниз.
Я лежу, укутавшись в плед
шотландский,
и вся Европа за ветроломом экспресса
не богаче жизни моей,
что похожа на плед,
весь потертый ларцами, набитыми золотом,
вместе с которыми еду я вдаль,
мечтаю,
курю,
и одна только бедная мысль
меня согревает в дороге*.

* Перевод М. Кудинова.

Этот отрывок из поэмы Блеза Сандрара «Проза о транссибирском экспрессе и маленькой Жанне Французской» прекрасно передает настроение первой части романа Мишель Лебр* «Красный диван». Эти стихи, а еще гипнотизирующая атмосфера метафизического триллера Тарковского «Сталкер».

Вполне возможно, что сталкер — то есть гид, проводник, — который ведет рассказчицу в самое сердце Зоны (мифического измерения, где все может быть!), в этой книге не кто иной, как загадочный и обаятельный персонаж по имени Игорь, который по большей части стоит в коридоре, за которым писательница постоянно наблюдает (почти всегда со спины или в профиль), с которым она перекинется парочкой жалких слов по-русски, которые знает, но который, между тем, словно призван ее тайно сопровождать, как грустный ангел-хранитель.

Ибо меланхолия и ностальгия — два главных чувства, которыми пронизан роман.

С одной стороны, грусть по незавершенному (эта мука неудовлетворенности зрелого возраста), но с другой стороны, также и ностальгия по утопиям юности, которые писательница хочет пережить в последний раз, — возможно, чтобы убедиться, что все это окончательно миновало, — пытаясь разыскать старого друга по политической борьбе; товарища по безумной вере в социальную справедливость, в новый мир, в вечную дружбу, в идеалы, которые, как можно догадаться, были близки обоим.

Однако описание мчащихся мимо городов и пейзажей уже само по себе служит ответом, за которым пришла героиня: разруха и запустение

* Мишель Лебр (р. 1939) — французская писательница.

посткоммунистического мира, где, словно в немом стенании, сменяют друг друга заброшенные заводы и поля. Впрочем, если правда то, что роман с мрачным наслаждением увлекает нас в атмосферу сумеречных мечтаний, своей разочарованной поэзии падшего мира, возможно, в этой истории также можно усмотреть параллель — хоть и неосознанную — со старинной поэтической традицией Китая: даосской традицией, которую древние учителя обычно называли: навестить друга, не встречаясь с ним.

Хижина на холме
Черная лента подъема в тридцать ли
Я стучу в дверь, некому отворить,
Заглядываю внутрь, там только стол
Наверное, он уехал в своей повозке из веток
Или ушел порыбачить в осенней воде,
Мы встретились, не увидев друг друга.
Напрасный порыв, я гляжу вокруг
На цвет травы под последним дождем,
Шум сосен, в этот вечер у окна
Я сливаюсь с этими чудесами,
Они моют мне сердце и уши,
И однако, нет наслажденья ни хозяину, ни гостю
Тогда понимаю я чистый закон,
Радость исчерпана, я спускаюсь с горы,
Зачем тебя ждать?

Цю Вэй (694–789)

Достигнув цели, писательница вдруг поворачивает обратно, заглянув внутрь дома бывшего друга, который ушел. Очевидно, она тоже поняла «чистый закон» и ей нет никакой надобности ждать ответа, за которым она явилась.

Однако помимо друга, которого ей не хватает (и которого она, возможно, избегает?), героиню преследует и другой призрак — восхитительной подруги, старой модистки, оставленной в Париже на красном диване, символической фигуры старого мира ремесленников. У нее больше индивидуализма, больше наивности и простоты (своих свойственных людям, живущим одним днем, не строя догадок о возможном). Она молча противится коллективной мечте о революции, столь притягательной в прошлом. Ремесленный мир, старомодный, но дружественный и поистине братский (в данном случае сестринский), к которому, осознав бесполезность своей поездки, без которой она все-таки не может обойтись (и в этом вся сила романа — заставить нас осознать, какими далекими и окольными путями может проходить поиск своей судьбы), она возвращается, чтобы понять, что счастьем — очень простым и долгое время заслоняемым пылом юношеского романтизма — было как раз то самое, незавершенное, что всегда находилось рядом.

Нужно обязательно прочитать эту прекрасную книгу, называемую романом обучения, повествование которой, развиваясь между сном и волшебной реальностью, увлекает нас плавным стилем Мишель Лебр — эта манера скользить, не останавливаясь подробно, — в поэтическое и серьезное размышление о превратностях и неожиданных поворотах в познании самого себя. И может, нам тоже посчастливится понять, что наши давние и навязчивые фантазии играют в нашей жизни ту же роль (вообще-то необходимую) помощника, простого стимула в *taedium vitae**.

И тогда нам вспомнятся слова лорда Байрона:

Великая цель жизни — ощущение. Чувствовать, что ты существуешь, пусть даже через боль. Именно эта молящая «пустота» толкает нас к игре — к войне, в путешествие, к любым действиям, вызывающим сильные ощущения, чья главная притягательность в волнении, которое с ним нераздельно.

* Отвращение к жизни (лат.).

ТИБЕТЕЦ НА ОЛИМПИЙСКОМ МАРАФОНЕ

Этой ночью мне приснился поистине странный сон.

Началось с того, что я принял приглашение — и это самое странное — побывать на Олимпийских играх в Пекине. Когда мы прилетели, в аэропорту нас встретили китайские гиды (мужчина и женщина, державшиеся с ледяной учтивостью) и на машине повезли нас через гигантские стройки, потом по длинным проспектам, ничем не отличавшимся от таких же в любой развивающейся агломерации (это напоминало фильм «Время развлечений» Жака Тати, может, с чуть большей манией величия...), а гид-китаянка расхваливала на своем приблизительно английском то, что сооружалось.

Больше всего меня поразило, что сквозь туман, окутавший город, не пробивалось солнце, что действовало очень угнетающе. Наконец мы прибыли в своей отель, по некоторым деталям было заметно, что его только-только построили (тут и там еще сущились голодные, злые рабочие, и, когда мне с трудом удавалось поймать их взгляд, казалось, я вижу покорных прирученных зверей, но иногда в их глазах на мгновение вспыхивала ненависть...).

Гиды объявили, что у нас пятнадцать минут на то, чтобы отнести вещи и освежиться, а потом нам нужно собраться в холле и отправиться на торжественную конференцию. Моя комната была обычным гостиничным номером «роскошной» гостиницы стандарта «Хилтон»; только гравюры в рамках,

бледные копии старинной китайской живописи, напоминали, что ты находишься в древней Срединной империи.

Затем меня и других членов делегации доставили на автобусе в большой зал, где уже сидело много народа разных национальностей с блокнотами и ручками, и мы выслушали приветственную речь китайца в костюме и галстуке, не перестававшего механически улыбаться между протокольными фразами на безупречном (в плане синтаксиса) английском, но с хромающей дикцией. В его речи говорилось о том, как счастлив «древний» Китай принимать нас во время такого «замечательного события, призванного служить мирному сближению народов».

Я заметил, что у одной из моих соседок (на ее груди красовался значок с надписью «Japan») на плече висело что-то вроде противогаза, похожего на те, которые во Франции носили пожарные во время учений по выживанию в случае террористической атаки. Потом я увидел, что у большинства слушателей имеются такие же. Меня ни о чем не предупредили, и я слегка запаниковал. Тогда я встал, исца глазами гида, чтобы спросить, почему обо мне забыли, и тут полицейский в форме решительно усадил меня на место, сказав, что нужно дождаться конца заседания.

По окончании гид спокойно объяснил, что противогаз выдается по желанию и предназначен только на случай сильной жары, а синоптики не предсказывали ничего подобного на время соревнований.

Наконец, как обычно бывает в нелепых снах (а этот был как раз одним из таких, не так ли?), я словно по волшебству очутился на трибуне стадиона в огромной толпе зрителей, с явным восторгом смотревших вниз на дорожку, у большинства из них на поясе висели те же противогазы.

Мы присутствовали на одном из главных событий Олимпийских игр: знаменитом марафонском забеге.

Все взоры были устремлены к выходу под северной трибуной, откуда через несколько минут появился африканец с фигурой аскета (честно говоря, слегка напоминавший скелет), который под буйные аплодисменты механическими скачками завершал последний круг в забеге, а сзади, отставая на несколько метров, бежал точь-в-точь такой же африканец — и в своем запутанном сне я уже не мог вспомнить, то ли они бежали в поддержку голодающих забастовщиков, то ли это был международный забег на длинную дистанцию.

Когда бегуны пересекли финишную черту, громкоговоритель объявил, что оба спортсмена из Эфиопии заняли призовые места, а второй из них одержал победу в личном зачете. Странным было то, что на финише оба атлета сразу рухнули на землю, к ним тут же подбежали санитары в форме, уложили на носилки, а к лицу приложили кислородную маску, подключенную к огромному баллону на тележке. Похоже, все воспринимали это как должное, один я был слегка удивлен, а потому попросил разъяснений у соседа (на его нагрудном значке было написано «австралийский болельщик»). Тот совершенно спокойно ответил, что это нужно, чтобы очистить легкие от чрезмерного содержания углекислого газа, скопившегося из-за большого напряжения, что сейчас это нормальная и обязательная процедура во время крупных состязаний в перенаселенных городах для предотвращения проблем с сердцем и дыханием. Более того, добавил он, затем их всех, включая соперников, подвергнут обязательному диализу.

— Диализу? — удивился я.

Да, снисходительно пояснил он, тоном человека, говорящего с умственно отсталым, диализу, чтобы очистить кровь от всех легальных допингов, которые они принимали перед соревнованием.

Я вдруг понял, что безнадежно отстал в том, что касается развития современного спорта, и совершенно не заметил, какой потрясающий прогресс достигнут в области улучшения спортивных результатов.

Тем временем до финиша мелкими группами добежали остальные спортсмены, которых подвергли тем же медицинским процедурам. Одновременно с этим на центральной площадке соревновались прыгуны в длину; я обратил внимание, что у большинства из них были пластиковые ступни на шарнирах, похожие на маленькие лопаты, а их прыжки походили на прыжки роботов, которых мне приходилось видеть в телепередачах. Мой сосед, оказавшийся невероятно любезным, пояснил, что прыгунам и спринтерам теперь ампутируют конечности, чтобы заменить их на более эффективные ступни из углепластика. По его словам, в спринтерском забеге это позволяло выиграть несколько тысячных секунды и две десятых миллиметра в прыжках (тут он настаивал, чтобы я восхитился подвигом). Подобные эксперименты применялись и в других видах спорта, например в метании, где гибкая пластиковая рука позволяла достичь поразительных результатов (*very exciting!** как выразился мой сосед).

Наконец — как обычно бывает в снах — случилось нечто непредвиденное: громкоговорители объявили, что сейчас один особенный спортсмен совершит финальный забег, ибо, как официально сообщал голос, разносившийся по стадиону, китайское правительство, дабы проявить снисходительность и

* Потрясающе! (англ.)

великодушие по отношению к симпатичной гималайской провинции, позволило участвовать в соревнованиях тибетскому спортсмену, несмотря на то что он совершенно не соответствует олимпийским параметрам. На дорожке возник человек в одежде монаха, но вместо того, чтобы бежать, как другие, он начал трястись на манер бродячих дервишей; он делал полный оборот на одной ноге, потом переступал на другую и таким образом двигался вперед, вертаясь вокруг своей оси и держа в руке молитвенный барабан, который тоже крутил над головой. Его бег, такой медленный с точки зрения скорости вообще, привел стадион в замешательство — я это почувствовал — своим жизнерадостным и беззаботным видом, тем паче что лицо юродивого — в отличие от других спортсменов, которые морщились от усилия, — светилось улыбкой. Голос провозгласил, что Чогьяму Трунгпа было позволено выступить совершенно бесплатно, и за это он настойчиво хотел выразить благодарность.

Когда монах пересек финишную черту, к нему подошел переводчик с микрофоном.

Чогьям Трунгпа объявил, что стиль бега, который он нам только что продемонстрировал, был известен много тысячелетий назад и позволял некоторым монахам преодолевать многие тысячи километров без всякой усталости, потому что лирический бег (так он его назвал) чудесным образом подпитывал организм и что «если бы ему позволили» (тут последовала какая-то возня, и переводчик, который машинально, не подумав, перевел эти слова, поправился), «если бы было время», он бы пришел таким образом из Лхасы, однако он ни о чем не жалеет, потому что ему представился случай воспользоваться новым прекрасным достижением китайского правительства — поездом Лхаса—Пекин!

(После этих слов большая группа китайцев в форме разразилась овациями на восточной трибуне.)

Под конец, когда переводчик спросил, рад ли он был участвовать в соревновании с другими атлетами, Трунгпа, сияя в улыбке всеми зубами (его счастливое лицо виднелось на экранах над трибунами), сказал, что он благодарен за эту возможность, которую ему предоставило его многоуважаемое правительство, и что по этому случаю он должен рассказать нам маленькую историю (тут переводчик слегка растерялся и повернулся к начальнику, который молча кивнул).

Один старый французский ученый, которого он встретил в гималайской долине, когда-то давно рассказал ему о бароне Пьере де Кубертене, основателе современных Олимпийских игр, и объяснил, что их основным девизом является принцип, который — его это очень обрадовало — совпадал с некоторыми принципами тибетских учений: «Главное — участие!»

При этих словах, переданных громкоговорителем, стадион взорвался от смеха, потом раздались бурные овации, как после удачной комической сценки, и жена моего австралийского соседа со слезами на глазах воскликнула: «He is so cute!» («До чего же он милый!»)

Вскоре после этого я проснулся и, вспоминая нелепый сон, дал себе слово на будущее — по крайней мере, пока не закончится Олимпиада в Пекине — не увлекаться бургундским (будь то обычная доза или нет...).

ПЕКИН: ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

Однажды, когда я имел неосторожное желание полистать газету, со мной приключилась странная вещь. Две статьи, расположенные рядом, но не имеющие ничего общего между собой, некстати отпечатались у меня в мозгах, которые у меня явно слегка набекрень...

В одной статье сообщалось, что пловец Бернар (фото его чудовищной неестественной мускулатуры служило подтверждением) только что выиграл заплыв на сто метров *вольным стилем*. А в другой, что верховный комиссариат по окружающей среде составил опись 131 французского пляжа, чистота которых ставилась под сомнение, а в будущем году планировал закрыть 57 пляжей Бретани, признанных опасными для здоровья.

Но закавыка оказалась в следующем: мне вдруг всерьез захотелось узнать не только, приходилось ли Бернару и его коллеге по спорту Лоре Маноду *вольно поплавать* (я имею в виду ради удовольствия или развлечения), но и приходилось ли им хоть раз в жизни плавать в море? На первый взгляд вопрос может показаться нелепым, однако он не так уж глуп для тех, кто знает, какой ежедневный режим с самого малолетства приходится соблюдать будущим чемпионам, которых периодически находят и тренируют с пяти-шести лет так, что у них совершенно не остается времени на развлечения.

Само собой разумеется, профессиональный пловец тренируется только в бассейне.

И мне вдруг показалось, что две эти разные статьи составляли мрачное целое.

Этот современный цирк с играми настолько хорошо организован властелинами нынешнего мира и взахлеб транслируется СМИ, которые (хотим мы того или нет) так или иначе им подчиняются, что их целью является скрыть от нас, в какой искусственный мир мы погружаемся. Мир, где «показатели» — будь они якобы научные, спортивные, экономические или попросту статистические — всегда занимают первое место, чтобы нас воодушевить, дешево поразить, а потом весьма незаметно одурачить, вовлекая наши тела и души в бесконечный круговорот, без конца удаляя нас — и может быть, безвозвратно — от изначальной красоты природного мира и восхитительных удовольствий, которые он еще таит в себе (плавание в реке, море или озере — среди них одно из самых чудесных).

Мне действительно кажется, что современные Олимпийские игры, вызывающие такой ажиотаж даже у тех людей, от которых обычно ждешь спокойной рассудительности, представляют собой прекрасный образчик этого «лучшего из миров», к которому *против нашей воли* влечет наше безумное увлечение техникой. Самонадеянная уверенность во власти над Вселенной (или скорее: иллюзия неограниченной власти) — всего лишь фарс, который начинает трещать по швам.

Поскольку в предыдущей главе я рассказал свой настораживающий сон об Олимпиаде в Пекине, не могу хотя бы частично не привести здесь статью (за подписью Фанни Капель), которую я прочел сегодня в журнале «Телерама», в которой обсуждается документальный фильм, показанный на кан-

ле «Арте» во вторник 19 августа, и в котором мы видим оборотную сторону пекинской Олимпиады. Цитирую:

Пекин, один из самых загрязненных городов в мире, хочет навести красоту перед Олимпийскими играми, но «красивое» не всегда означает «экологически безопасное»: обустройство гигантских руко-творных зеленых массивов оборачивается огромными затратами энергии. Однако чтобы представить себе масштаб бедствия, нужно выйти за пределы китайской столицы. В соседних деревнях засуха, результат глобального потепления и массового уничтожения лесов в эпоху Мао, стала обычным явлением. Население вынуждено уезжать, оставляя после себя деревни-призраки. Песок из пустыни Гоби, подхваченный ураганами, которые случаются все чаще, долетает до Пекина. Единственное средство, предпринятое правительством для борьбы с этим явлением — посадка деревьев, — становится совершенно бессмысленным, поскольку молодые саженцы часто срубаются крестьянами на дрова.

Это тщательное документальное исследование приводит в ужас и демонстрирует не только экологические проблемы страны, но и ее диктаторскую атмосферу. Репортерам постоянно приходится согласовывать свои интервью с властями, а из уст китайских специалистов только и слышишь официальную пропаганду...

Возвращаясь к своему первоначальному размышлению, скажу, что я слышал, что пловцы высшей лиги проводили во время тренировок столько часов в бассейне — словно глухие и слепые роботы, — что, когда наступал перерыв, их зачастую приходилось вытаскивать из воды на специальных

носилках и давать отдохнуть минут десять, прежде чем они снова обретали способность ходить. (Что касается их мыслей и простого мышления — несколько интервью с ними достаточно тому свидетельствуют, — тут проблем почти нет, ибо эта способность у них никогда не была развита.)

Рассказывают, что, когда королева Виктория пригласила одного из самых обаятельных индийских махараджей на священные для сердца каждого британца лошадиные бега, тот вежливо поскучал, а потом ответил хозяйке (которая спросила о его впечатлении), что ему не обязательно было дождаться до пятидесяти четырех лет, чтобы узнать, «что одна лошадь может бежать быстрее другой».

ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР

Несколько лет назад мне довелось присутствовать при одной ошеломляющей сцене, которая, как мне кажется, вполне может служить иллюстрацией сегодняшней жизни.

Каждый день я приезжал к двенадцатилетнему мальчику, которому давал уроки тенниса. Он был единственным сыном богатых родителей (отец отставной военный высокого ранга), не желавших, чтобы сын проводил все свое время в специально обустроенной для него комнате на цокольном этаже их огромного дома, расстреливая на экране компьютера десятки страшных врагов, которые так натурально корчились под пулями, прежде чем рухнуть на землю (вот только кровь не лилась: это были удивительно опрятные мертвецы, исчезавшие в виртуальных недрах без всяких следов...).

Ликвидация велась — под оглушительный шум автоматных очередей — согласно выбранным средствам: базуками, пулеметами, автоматами Калашникова, ручным скорострельным оружием, огнеметами, пушками, затем ножами, топорами и даже палицами с шипами во время ближнего боя.

Я насчитывал сотни виртуальных убитых в неделю.

Частенько из симпатии к этому пареньку, от природы обаятельному, но замкнутому, стеснительному и очень неловкому на теннисном корте (совсем неопасные резиновые мячики, которые я не спеша

посыпал ему, летели к нему слишком быстро и, казалось, поражали его своей реальной плотностью), я оставался с ним в его видеобункере понаблюдать за игрой. Во время боя я замечал непримиримость на его лице, быстроту и точность реакции, в отличие от его поведения на корте, здесь он не знал ни малейших сомнений. Однажды он рассказал мне, что мечтает стать боевым летчиком ВВС.

Как-то после обеда я застал следующую сцену: по какой-то причине (вероятно, чтобы отдохнуть от тяжелой работы безжалостного терминатора...) Жед — так звали мальчика — забрел в уютную гостиную родителей посмотреть документальный фильм о животных. Сидя рядом, я видел, с каким восторгом смотрел он на невинных животных до тех пор, пока (фильм снимался в Эфиопии) не показали эпизод о засухе в саванне. Томимые жаждой животные устремлялись к болоту, где еще оставалась вода. В болотной грязи прятались хитрые крокодилы, терпеливо поджидая добычу. Стоило грациозной антилопе приблизиться, как хищник сделал бросок, схватил ее за ногу и потащил под воду. Жертва отбивалась до тех пор, пока не была разорвана на куски.

При виде этого лица Жеда скривилось, он начал кричать от ужаса, а потом истерически зарыдал. Отец, перепуганный неожиданным шумом, вошел и, увидев, что на экране сейчас разыгрывается другая подобная сцена, крикнул:

— Немедленно прекрати смотреть эти ужасы, это невыносимо!

Потом схватил пульт и решительно выключил телевизор, чего обычно раньше не делал даже при самых жутких сценах телерезни.

Когда я рассказал эту историю партнеру по теннису, по профессии гражданскому летчику, но

учившемуся на летчика-истребителя, тот заявил, что теперь этот паренек прекрасно подготовлен для того, чтобы стать военным пилотом. Дело в том, что современные летчики бомбят цель с очень большой высоты и так быстро, что все, что они успевают увидеть на экране, очень напоминает видеоигру. Для них реальный мир представляется чем-то абстрактным. Равно как и реальная жизнь и смерть...

— Можешь мне поверить, — добавил он, — я в детстве и почти всю молодость был точно таким же. Для меня и моих приятелей война, смерть, кровь, взрывы и все такое... было совершенно ненастоящим. Мы же почти не спускались на землю! А однажды во время наземных маневров (это один раз было), когда мы случайно оказались на ферме, я видел, что мои товарищи смотреть не могли, как хозяйка спокойно резала горло утке, чтобы приготовить ее на ужин.

КРЕСТЬЯНИН И ИЗГНАНИКИ ПОСТМОДЕРНА

Миновав узкие однополосные дороги, петлявшие то вверх, то вниз между лесистых холмов и лугов, с которых невозмутимые коровы глядели на нас — я прямо чувствовал это — с каким-то безропотным скептицизмом, мы съехали на грунтовую дорогу, настолько ухабистую, что хотели уже было повернуть обратно, когда наконец увидели поляну на опушке леса, где нашим взорам открылась большая старинная ферма, куда нас пригласили с группой таких же любителей на так называемую «экскурсию по мастерской», организованную семейной парой, скульптором и художницей.

Для начала нас провели в просторный высокий амбар, переделанный в мастерскую скульптора. Там стояли огромные металлические композиции, либо отлитые целиком, либо сваренные из кусков листового железа, представлявшие собой разные периоды творчества мастера. Эти немного загадочные предметы — освещенные естественным зеленоватым светом, исходившим от высокой бамбуковой рощи за огромной застекленной стеной, — на мгновение показались мне разбросанными, а затем заботливо собранными экземплярами коллекции метеоритов какого-нибудь эксцентричного археолога.

Затем нас пригласили в другой амбар таких же (надо сказать, почти потрясающих) размеров, где на оборудованном мезонине, освещенные бледным

светом дождливого дня висели абстрактные картины, манерой письма напоминавшие стиль Полякова* и Брама Ван Вельде**. Как и в мастерской скульптора, мы некоторое время слушали пояснения художницы (всем известно, что в наши дни «произведения искусства» не могут обойтись без комментариев, поясняющих суть проделанной «работы»).

Далее визит продолжался по остальным пристройкам бывшей фермы, где были оборудованы жилые помещения и прочие удобства, все было устроено элегантно и с изысканным вкусом, своим творческим натурам, когда они вкладывают свой талант в старые утилитарные постройки, изобретательно подчеркивая размеры помещений, где они поселились, словно улитки в новой раковине (бывшие хлебные печи, стойла, кормушки, сложные строительные конструкции, в уголках разнообразные старинные инструменты).

При виде такого контраста меня постепенно охватило какое-то недовольство; от столкновения, если можно так выразиться, двух культур, расположенных рядом или, вернее, наложенных одна на другую — интеллектуального эстетизма, глубокого рационализма, патетического мудрствования городской культуры и неосознанной, интуитивной и скорее «молчаливой» древней, традиционной крестьянской культуры.

Честно признаться, я никак не мог как следует сосредоточиться на скульптурных композициях из сваренных металлоконструкций, взгляд то и дело притягивали ржавеющие в углу части старого

* Серж Поляков (1900–1969) — французский художник, выходец из России.

** Брам Ван Вельде (1895–1981) — нидерландский художник-абстракционист.

плуга, кучка колесных ступиц, рессоры от конной повозки, изящные подножки, сиденья и прочие хитроумные детали, выполненные явно с большим старанием кузнецами прошлого, а особенно сложный высокий каркас, в ту эпоху наверняка смонтированный «подмастерьями». Я также не мог уделять должного внимания картинам со столь же абстрактными названиями, взгляд немедленно отвлекался на пейзаж, который — как на средневековых миниатюрах — обрамляла искусно сделанная оконная рама в толстой стене, в маленькое окошко виднелся луг, поднимавшийся по пологому склону поросшего лесом холма (в этот предвечерний час, окрашенный в несравненные тона берлинской лазури). Тогда я тайком подумал (стараюсь по возможности отогнать эту мысль, я ведь знаю, насколько она кощунственна или, вернее, очень неполиткорректна), что для тех, чьи глаза еще настолько чувствительны, чтобы сравнивать внешний облик по морфологии (следуя заветам гётеvской науки), никаких сомнений не оставалось: упадок и закат этого мира со всей их привлекательностью — печальной поэзией руин — были представлены здесь во всем своем неотвратимом и несколько удручающем великолепии.

Еще я подумал о том, что Шпенглер в своей удивительной книге с незаслуженно скандальной репутацией «Закат Европы» называет «псевдоморфозой», а именно возвращение молодой культуры в границы более древней, когда молодая, несмотря на отчаянные усилия, не может по-настоящему существовать в отлитой не для нее форме, чей сияющий духовный магнетизм еще настолько силен, что душит робкие попытки обновления. Эта промелькнувшая мысль заставила меня понять, что мы, вновь явившиеся, только и можем, что покрывать

старые вещи излишне жеманными и, скорее всего, ненужными украшениями...

Это впечатление укрепилось еще сильнее после внезапно произошедшего мимолетного, но показательного события: точно также, как теперь в Авероне, несколько лет назад мы посетили другое прелестное местечко в горах, которое В. и А. тоже купили и, как новые хозяева, рассказывали нам, как тяжело и, скажем прямо, невыносимо, как физически, так и морально (особенно зимой), жилось здесь раньше, в этом уединенном уголке, когда даже элементарных удобств еще не было, и пока они весело тараторили эти общепринятые истинды, близкие большинству «развитых» людей современного мира, по чистому совпадению (?) у них гостил бывший хозяин фермы, древний старичок с палочкой, раз в году навещавший эти места.

Тогда же я узнал, что этот крестьянин, жертва массового исхода из деревень, продал семейную ферму, чтобы уехать с женой на заработки в Париж, где оба устроились — она санитаркой, а он поваром — в приют для умалишенных, и с тех пор жили (по словам наших друзей-художников) в парижском пригороде, одном из этих безликих районов, наспех построенных в пятидесятые годы для размещения прибывающей рабочей силы, которую выманивал из глубокой провинции великий мираж торжествующей промышленности.

И тут случилось нечто удивительное, когда старичок несколько растерянно — как, вероятно, было каждым год — оглядывал бывшее «нищее захолустье» своей юности и расспрашивал, гнездится ли еще столько же ласточек под крышей амбара, прилетают ли к колодцу синички, можно ли еще у болота встретить лису, барсука и цаплю, он вдруг залился слезами. Все присутствующие бросились

его утешать, спрашивая, что случилось, а когда он успокоился, то сказал только: «Да просто прошлое вспомнил!»

Остальные с облегчением покивали.

Я же не мог не думать о том, что этот старик, сам того не осознавая, — хотя, по-моему, мы со своей стороны все интуитивно почувствовали, а охватившее нас оцепенение это подтвердило, — что да, сам не до конца понимая, старик оплакивал нас всех (жалкие кошки-мышки между городом и деревней), нашу ничтожную жизнь изгнанников постмодерна.

КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ ИСКУССТВА!

Я знаю Франсуа Б. очень давно и, следовательно, могу подтвердить, как обычно принято говорить в таких случаях, он пережил много разных «периодов». Одно время он писал акварельные миниатюры в очень маленьких блокнотах, которые никому не показывал.

А это, как нетрудно догадаться, не способствовало его известности.

Затем наступил довольно длительный период увлечения чем-то вроде кубизма, иногда с грандиозными озарениями, и, если очень вежливо попросить, он даже мог что-нибудь показать. Однако стоило вам по неловкости высказать восхищение, он тут же прекращал показывать что бы то ни было, потому что уже в то время не доверял комплиментам и пространным рассуждениям, если они касались искусства или художников. Дело в том, что Франсуа Б. никогда не был точно уверен — хотя всю жизнь посвящает этому большую часть времени, — что он хочет заниматься живописью. В основном ему нравится, как он всегда говорил, намазывать краску на макеты.

Дюбюффе* в период написания книги «Каталоги и последующие записи» часто говорил о подобном типе одержимости.

Затем наступил длительный период символизма, во время которого Б. писал только хижины, деревенские домики, что-то вроде беседок в заброшенных садах или на невозделанных полях. Иногда он давал понять — и мы как будто смутно его понимали, что для него эти хижины являются символом «идеального убежища», где можно спокойно поразмышлять — вдали от бурлящего мира — обо всем на свете, например, о своем художественном призвании.

По окончании очередного периода, позднее, уже в Вексене, где по утрам он только копался в городе, а после обеда озадаченно смотрел через окно своей мастерской в мастерскую дома напротив, где суетился его сосед, знаменитый художник, жаждущий оставить потомкам драгоценное наследие (который, несмотря на преклонный возраст, сутками напролет работал, выбиваясь из сил, пока однажды ночью в мастерской не случился пожар, и все его полотна сгорели!), сам Б. — надо сказать, немножко разочарованный — некоторое время пребывал в меланхолии и часто ходил наблюдать («с большим сочувствием», как он выразился) за утками, которые плескались в пруду неподалеку, а потом вдруг решил заняться почти научным изучением возможностей цветового спектра. Плодами этого опыта стали зачастую захватывающие абстрактные композиции, хотя иногда (по его словам) совершенно неудачные.

Вскоре после этого им заинтересовались коллекционеры и купили несколько его картин. Б. довольно быстро отвадил их и стал посещать больницу для старииков, утративших умственные способности, где, с одной стороны, проводил время, сочувствуя пациентам, а с другой стороны, создавая впечатительную серию патографических портретов, на мой взгляд просто поразительных.

* Жан Дюбюффе (1901–1985) — французский художник и скульптор, основатель художественной концепции ар-брют, «грубое искусство».

Затем наступил знаменитый период улицы Тек-сель в Париже, где в течение целых двух лет он в мастерской своего друга-художника каждый день писал на одном и том же холсте, вечером стирал созданное за день, а утром начинал снова. Один друг-американец (философ по профессии) наблюдал за ним в течение полутора лет, не смея вмешаться, а потом отважился наконец заметить:

— Знаешь, ты непрправ, иногда у тебя очень хорошо получается!

Как будто все дело в этом! Но, увы, американцы, даже философы, весьма прагматичны!

Одно время Б. совсем перестал писать и проводил время, весело болтая по телефону с малознакомыми людьми.

Однако на протяжении всех этих лет в различные периоды одно оставалось неоспоримым: Б. никогда не прекращал рисовать — просто не мог! И я не единственный, кто считает его замечательным рисовальщиком. Единственная проблема с рисунком в том, что для него он слишком прост и очевиден и что, по его собственному признанию, ему нужно совсем другое. Что именно, это вопрос — довольно запутанный, если не сказать метафизический, — на который он не только не готов, но и совсем не уверен, что хочет получить ответ!

Между тем, однако, он поселился в Бретани и выстроил мастерскую на берегу моря, где ежедневно создает совершенно необычные цветные геометрические сочетания, при виде которых поднимается настроение. Я частенько прихожу туда после обеда послепланивать, расслабиться за беседой и проникнуться этим настенным калейдоскопом, который, должен сказать, приводит меня в совершеннейший восторг.

Попивая превосходный чай «Русский вкус», мы конечно же без конца обсуждаем коренной вопрос «конечной цели искусства и творчества» и как двое друзей из басни чань, которые покатываются со смеху, потому что случайно встретились осенним днем на горной дороге — мы часто хохочем без удержу.

Но однажды ответ на вопрос явился без спросу. Некая старушка бретонка, которая часто ходит по дороге мимо мастерской, остановилась, чтобы поболтать с нами о пустяках — своим наметанным глазом она безошибочно определила в нас знатоков этого дела, чем мы всегда и гордились. Но как раз в тот момент яркое солнце осветило картины на стене мастерской. Она, конечно, заметила их и спросила:

— А это для чего?

Б. тут же ответил:

— Для красоты!

— А! Ну надо же! — сказала старушка. — Ладно, господа, до свидания, приятно повеселиться!

С того самого дня — а случилось это не так давно — мы порешили, что старая бретонка права и мы должны продолжать приятно веселиться — как и раньше, только не задаваясь больше вопросами, я — заполняя блокнот трагикомическими заметками, а Б. — старательно создавая свои хроматические гаммы, с каждым разом все более точные и изысканные.

Недавно, когда я снова зашел в мастерскую, то был потрясен и подумал, что в случае с моим другом игра действительно стоила свеч!

ТРЕЩИНА

Как-то утром, будучи за городом, когда я завтракал, лениво пытаясь связать воедино обрывки запутанного и слегка эротического сна, стараясь по возможности отдалить прослушивание радионовостей с их неизбежной тревогой, вызванной колебаниями мирового фондового рынка, я рассеянно смотрел через кухонное окно на туман, поднимавшийся над рекой, вполне подходящий для декораций к прелюдии «Золота Рейна» (только без напыщенного грохота музыки), а у самого дома скрипались крикливы сойки, едва не задевая крыльями оконные стекла, а потом после утренней прогулки вернулся кот (главные события этого мира всегда сменяют друг друга с поразительной быстротой), усился на край стола, словно маленький египетский сфинкс, готовый загадывать свои загадки. И в эту роковую минуту я впервые заметил, что старая чашка из унаследованного от бабушки «лондонского» сервиза, в которой дымился мой чай, была — держитесь крепче — слегка надтреснута!

Мне тут же пришла на ум строчка из стихов Одена*:

Трещина в чашке открывает нам путь в страну мертвых...

Тогда мой взгляд мало-помалу просочился в эту трещину... И я снова увидел роскошный парк на берегу Сены со спортивным клубом, где вместе с родными проводил такие дивные субботы и воскресенья в компании наших тогдашних друзей, молодых, старых и не очень старых, дышавших единым духом спортивного товарищества, безудержного веселья и игривого эротизма, — мы состязались в большом и настольном теннисе, в шахматах, плавали в лодке по старице, устраивали пикник и флиртовали на полянке пустынного островка, спорили до хрипоты, затевали шумную возню на лужайках под высокими деревьями, а в небе медленно плыли облака, представлявшиеся моим мечтательным взорам величественными парусниками, державшими путь к тому, что казалось мне блаженными островами среди огромного океана будущего.

Кипучее веселье оживляло по выходным это букалическое местечко, и лица озарялись лучистым и неистребимым беззаботным счастьем. И вдруг я с какой-то растерянностью и удивлением осознал, что это видение, показанное мне памятью — сквозь дрожащий и бледный свет блаженного прошлого, — очень похоже на детские воспоминания старого профессора, главного героя бергмановского фильма «Земляничная поляна», что я, как и он, увидел длинную вереницу призраков в месте, ныне несуществующем; я понял, что для меня они были не чем иным, как добрыми гениями, направлявшими и навсегда сформировавшими мою судьбу.

Задержавшись среди этих светлых зыбких теней, я услышал, словно музыкой к фильму, нежные девичьи голоса, так волновавшие меня в то время, онисливались со щебетом птиц (которые, как всегда казалось, хотели участвовать в общем веселье), с монотонным гудением моторов деловитых баржей, плы-

* Уистен Хью Одэн (1907–1973) — английский поэт, оказавший огромное влияние на литературу XX века.

вущих в Париж вверх по течению, с шелестом ветра в листьях, на который никто не обращал внимания, но который, если хорошенько подумать, был музой самой жизни, незаметно струившегося сквозь нас, устремляясь к будущему, которое после неизбежных перипетий вело в это самое утро, к трещине в моей чайной чашке!

Тут в моей памяти голос Жана Фоллена начал вторить эхом стихам Одена:

Тончайшая трещина
В окне или в чашке
Может вызвать блаженство больших воспоминаний...

Волшебное поэтическое звучание, позволявшее думать, что вдали от экономических и климатических катастроф, которыми нам постоянно грозили, некоторые стихи наделены такой же реальной силой, которую не измеришь математически, но столь же явной и ощущимой в духовной жизни. Мне также казалось очевидным, что вдумчивые умы вечно подстерегают эту трещину, которая иногда в нужную минуту прочерчивает зигзаг на слишком гладкой, слишком цельной поверхности привычного мироощущения, а потом расширяет брешь, сквозь которую хлынут тяжелые воды прошлого, принося с собой непостижимые тайны, над которыми беззаботно текла наша жизнь.

И если нам приходилось, во избежание невротической энтропии, несмотря ни на что, продолжать развиться над этим потоком на мосту мира, такая трещина, когда она появлялась, представлялась удачей, потому что счастливые часы и минуты могли создать иллюзию постоянства в настоящем, только устремляясь в будущее с помощью силы прошлого; иначе говоря, вполне возможно, что наша жизнь

обновлялась и двигалась к непременному миражу будущего, только опираясь на архетипические модели, формировавшие наше сознание на протяжении долгого времени. Желание игнорировать это любой ценой — а нас так и толкает к этому детский восторг современности — может привести лишь к катастрофе, ибо, как все время твердили — только слишком тихо, — люди еще способны прочувствовать ценность некоторых традиционных установлений — мир, пренебрегающий своим прошлым, не имеет будущего*.

Однако, окунувшись на несколько драгоценных минут в этот ниспосланный провидением мемориальный разлом моих воспоминаний, я осторожно вернулся назад, к кухонному столу, где снова увидел кота, заботливо лизавшего шерстку, шустро работая языком. Робкое солнце понемногу рассеивало туман над речкой, я машинально включил радио, и на меня тут же полился елейный, фальшиво радостный голос, вовсю сыпавший мелкобуржуазными, засасывающими нас шутками, каждый день вербующими все больше народу в ряды так называемой великой армии веселящихся... нас, меланхоликов, в свое время, однако, столь восприимчивых к лирике, а теперь почти потерявших надежду на

* Здесь я должен процитировать В.Г. Зебальда, который в своем поучительном романе «Аустерлиц», упоминая модернистскую архитектуру новой библиотеки Франсуа Миттерана в Париже, устами своего рассказчика говорит: «Новые здания библиотеки, которые как по своему расположению, так и по внутреннему устройству граничат с абсурдом, стремятся устраниć читателя, превращая его в потенциального врага, думал Лемуан по прозвищу Аустерлиц, и являются собой почти официальное подтверждение все более растущей потребности покончить со всем, что сохраняет живую связь с прошлым». (Примеч. автора.)

этой земной планете, непоправимо отклонившейся от курса и несущейся в черную дыру грядущего взрыва.

В эту минуту кот сделал очень простую вещь: фыркнул и потянулся передними лапами, вовремя напомнив мне, что пора, несмотря ни на что, вернуться к текущей жизни, оставить свои прорицания и вновь погрузиться в то, что предпочтительней было бы назвать непредсказуемым ходом вещей.

Ветер крепчает, нужно попробовать жить*.

Я с облегчением повиновался и вернулся к своим нескончаемым записям, снова застрочив по странице своим микроскопическим почерком графомана, подобно упорному муравью, ползущему по длинной стене, которому, кто знает, возможно, и повезет найти новую малюсенькую трещину, чтобы сквозь нее провалиться «в блаженство другого большого воспоминания»?

Я крохи юности собрал. Что ж, птицам их швырнуть?
Иль может, их в слова вложив,пустить слова летать?
Слова и птицы улетят и, завершив свой путь,
Ко мне обратно тут как тут, и снова будут ждать.
Что скажешь им? Что больше нет крох юности моей?
Поверят? Нет! Начнут кружить как мертвая листва.
Крылами в стекла будут бить, и у моих дверей
Оставшись верными, умрут и птицы и слова**.

Юлиан Тувим (1894–1953)

* Поль Валери. «Кладбище у моря».

** Перевод К. Симонова.

МЕЧТА ГЮЛЬБЕНКЯНА

Пробудив меня от недолгого сна, самолет сделал вертикальный разворот, и нашим взорам открылось сверкающее на солнце устье Тежу, а энергичный таксист, словно разгоряченный Рональду ловко лавируя в пробке среди машин, наконец довез нас до центра парка фонда Гюльбенкяна в Лиссабоне, куда нас пригласили в качестве журналистов, и мне показалось, что я попал из одного сна в другой.

Какой любитель искусства не мечтал однажды целиком посвятить себя коллекционированию, отдаваться своему увлечению, своим любимым шедеврам? И именно это с изысканным вкусом сделал для нас финансовый магнат Галуст Гюльбенкян, собрав за долгую жизнь внушительную коллекцию произведений искусства самых знаменитых художников своего времени. Шедевры были выставлены в зданиях, специально расположенных таким образом, чтобы иметь — на японский лад — постоянную связь с парком, засаженным редкими видами растений, с широким центральным прудом, отражающим небо. Поэтому, когда проходишь мимо больших окон, постоянное присутствие растений смягчает угловатость прямоугольных стен и коридоров.

Из двух дней, проведенных за осмотром восхитительной и идиосинкратической коллекции, я выкладывают здесь — записанные у меня в блокноте — несколько мгновений, когда волны моего сна цели-

ком слились с мечтой необычного коллекционера, которым был Галуст Саркис Гюльбенкян, армянин космополит из Стамбула.

В самом начале сумрачного зала, посвященного античному искусству, помещался кошачий древнеегипетский саркофаг (бронзовая кошка в окружении своих котят, зрелище которой поражало не меньше, чем если бы вдруг за углом коридора мы увидели живую кошку в корзинке), затем шли различные ковры с такими запутанными узорами, каковой, вероятно, является и вся восточная философия. Ассирийский барельеф, поражающий своим современным узором, множество керамики, словно вчера покрытой глазурью, а в китайском зале со львом из горного хрусталия совсем рядом (геологический феномен?) с солнечным компасом из цельного золота! Наконец, на подсвеченном листе старого пергамента — персидский принц в великолепном тюрбане в самый разгар любовных утех со своей фавориткой перед целой толпой других куртизанок, вероятно обсуждающих между собой представленное им зрелище...

И тут, следуя за предоставленным фондом гидом, я вдруг очутился в концертном зале с огромными, обшитыми панелями, стенами, вдоль которых лилось пениетенора и сопрано, разучивающих отрывок из оперы Глюка «Орфей и Эвридика», и, если бы не ограниченное время визита, я задержался бы здесь подольше, убаюканный музыкой в этой чудесной защитной раковине. Тогда, поднявшись по лабиринту лестниц, соединяющих различные кабинеты, где усердно трудились исполнители посмертной эстетической мечты несметно богатого коллекционера, я дошел до временной экспозиции под названием «Drawing a tension», где среди прочих сюрреалистических или «дюшановских» про-

изведений увидел старую схему парижского метро (с личной подписью) Йозефа Бойса и графический рисунок паутины, названный «Проект паутины для паука»!

На цокольном этаже, где не было ни души, я также мельком видел снимки португальских фотографов, почти целиком посвященные — по примеру американских фотографов, работающих в жанре «фантастики города», — завораживающему и печальному контрасту, заметному сегодня тому, кто умеет это увидеть, упадка древнего традиционного Лиссабона, пораженного невидимым и постепенно разъедающим — увы, как и всех нас — раком промышленной цивилизации.

Наконец, после краткой прогулки по экзотическим садам под гигантскими эвкалиптами, где на лужайках среди ручейков, делая вид, что занята учебой, резвилась веселая молодежь, мы вышли на высокую террасу, где нас ждало угождение.

Когда светские формальности завершились, сон наяву стал еще более фантастическим во время свободного посещения коллекции европейских мастеров, ибо именно в этой области проявился ярчайший талант коллекционера неподражаемого Галуста.

Прежде всего, «Портрет девушки» Доменико Гирландайо, замечательное сочетание красного цвета на платье и колье особенно подчеркивает пылкий взгляд этой инженю XV века! Затем две работы Рогира ван дер Вейдена (поясные изображения святой Екатерины и святого Иосифа) и «Портрет старика» Рембрандта, все три исполненные неземной значительности, как мне показалось, красной нитью объединяющей собранные здесь шедевры (не в ней ли источник тревоги, терзающей большинство коллекционеров?). Это впечатление усиливалось при

осмотре многочисленных женских портретов, в том числе символизирующих женский и гуманистический идеал Галуста: чистоту, если можно так выражаться, пылко земную и возвышенно небесную, такую, какой ее великолепно изображает Гейнсборо в «Портрете миссис Лаундс-Стоун», выполненном в неподражаемом трепетном стиле этого художника, за которым следует вызывающий те же чувства «Портрет Елены Фурман» Питера Пауля Рубенса (бесконечно мечтательный взгляд под шляпкой с перьями) и «Мадемузель Дюплан» француза Франсуа-Андре Венсана (тот же взгляд, подернутый пеленой, усиливающей его эротичность), и, наконец, удивительный портрет дочери Джона Констебла кисти Джорджа Роуни (пухлой рыжеволосой красавицы в шляпке, украшенной колосьями пшеницы), напоминающий, кстати, о том, что юношей Галуст учился в Англии.

Чтобы в каком-то смысле дополнить этот портрет коллекционера, оставленный им самим, стоит подчеркнуть рассеянную чувственность (проступающую сквозь значительность), которая, как мне кажется, превалирует в большинстве этих полотен, что, по-моему, объясняет столь важное место, отведенное Юберу Роберу, Фрагонару, Ватто и их сельским фривольным праздникам, которым всегда исподволь угрожают чаща леса невдалеке или свинцовые тучи приближающейся грозы. Об этом также свидетельствует множество полотен Коре (его знаменитая «дымчатость» воздуха) и это явное тяготение к хрупкости чувств на полутонах, мгновениям волшебной недосказанности, когда счастье кажется таким близким. Таков «Пейзаж в парке» француза Эжена Луи Лами, где на берегу пруда три молодые женщины мирно ловят рыбу, чуть поодаль двое мужчин разговаривают, покуривая трубку, а в

небе над высокими зелеными кронами проплывают ленивые облака, словно ничто никогда не сможет омрачить эту минуту чистого блаженства.

В это мгновение мне очень захотелось — пожелание, обращенное в прошлое, в благодарность за этот щедрый дар, — чтобы Галуст в свое время испытал такое же наслаждение, но не только от созерцания картин, а в своей земной жизни среди людей.

Затем я перешел в маленький зал, где выставлены многочисленные творения, которые Галуст покупал (прямо в мастерской, согласно статье с его биографией) у того, кто позднее стал его другом, Рене Лалика, и следует особо упомянуть об этом невероятно утонченном художнике, чьи творения — в основном ювелирные украшения с животными и растительными мотивами — совершенно типичны для направления, которое получило название ар-нуво.

Здесь я попытаюсь описать только одно из них, поразившее меня больше всего. Речь идет об овальном серебряном блюде, в центре которого на полуоткрытой чаше цветка возвышается пенорожденная Венера, чья пышная шевелюра не что иное, как морские водоросли, грациозно обвивающие ее тело; зрелище тем более потрясающее, что эта фигура, воплощающая идеальную женственность, одновременно навевает своими формами самые сладкие чувственные мечты, а лицом выражает вселенское, почти материнское сочувствие, которое в том числе относится (по крайней мере, я на это надеюсь!) и к неутолимому мужскому желанию. Однако основной акцент этой потрясающей композиции — четыре наяды у ног богини с лицами, искаженными в любовном, почти оргазмическом, экстазе, прижимающие к груди огромную рыбу, пасть которой эякулирует мощной струей воды, отлитой из молочно-белой стеклянной пасты...

Одна только эта вещь редкостной тонкой работы показалась мне шедевром по своей дерзновенности в стилизованном изображении плотского желания.

Не имея возможности описать все собранные здесь сокровища, должен, увы, заметить, что, когда покидаешь этот храм утонченности и изящества, гул автомобилей и рев самолетов, пролетающих над парком во время посадки, напоминают нам, что современный мир, никогда не забывающий взять с нас плату за мгновения красоты, которые он еще скрупульно выделяет, зиждется на вечной двойственности: разве не обязано фантастическое богатство этого музея солидной прибыли от нефтедобычи?

БЫЛА ЛИ СИМОНА ДЕ БОВУАР ЖЕРТВОЙ МОДЫ?

Поскольку в наши дни так часто обсуждаются эротические пристрастия Симоны де Бовуар (даже охотней, чем ее мировоззрение, времена обязывают!) и прежде чем я выскажусь о том, что думаю обо всем этом периоде парижского экзистенциализма, который всегда одновременно меня очаровывал и вызывал улыбку (или даже смех, подобно хорошему водевилю, который так прекрасно умеют разыгрывать — с самым невинным видом — звезды СМИ), я хотел бы показать здесь письмо, которое получил недавно от одной читательницы по поводу последней передачи Финкелькраута, посвященной этой теме.

Здравствуйте, Дени Грозданович,

В прошлую субботу в первой половине передачи «Реплики», посвященной Симоне де Бовуар, говорилось о том, как женщины переживают старость. Гости передачи, Даниэль Сальнав и Югетт Бушардо, а также ведущий Ален Финкелькраут исходили из того, что для женщины старость — ужасное унижение и тяжкая утрата своего статуса. Все трое сходились на том, что старость для женщины означает потерю привлекательности, как сексуального объекта, и потому воспринимается, как несчастье. Более того, обе женщины высказали отнюдь не милосердное пожелание, чтобы для мужчин старость однажды

стала такой же трагедией — подобная уравниловка, по мнению двух наших низко мстительных феминисток, является неоспоримым шагом к светлому будущему равенства полов!

Сама я уже перешла черту менопаузы, то есть рассталась с возрастом, когда женщина прежде всего воспринимается, как сексуальный объект, и мои чувства совершенно противоположные, такая перемена статуса подобна освобождению, потому что я наконец-то могу в полной мере снова почувствовать себя просто человеком — ощущение, которое я утратила с вступлением в половую зрелость. Судя по моему окружению, я не стала исключением из правила, как утверждают трое наших друзей; мне кажется, большинство женщин, достигших пятидесяти лет, приобретают больше уверенности в себе и, освободившись от обязанности поддерживать красоту и заботиться о детях, они зачастую преображаются, живут для себя и развивают свои способности. Симона де Бовуар, кстати, является хорошим примером такой перемены к лучшему, совершенной временем, и то же самое можно видеть в замечательном фильме Рене Аллио «Недостойная старая дама», который в шестидесятые годы вызвал скандал, указав на этот факт.

Действительно, некоторые женщины, скажем так, «жертвы моды», воспринимают старость, как непоправимую катастрофу. Я заметила, что в основном это женщины, которые всю жизнь рассчитывали только на собственную обольстительность. В профессиях, на которые направлены лучи софитов, где успех почти всегда зависит от мнения зрителей, в таких областях, как театр, литература, искусство, и, конечно, политика, отдается предпочтение внешнему виду в ущерб развитию более глубоких качеств и интересов. Однако три участника передачи, которые в силу своих профессий подчиняются правилам и цен-

ностям, диктуемым СМИ и рекламой (вечная молодость!), похоже, не учитывают молчаливое большинство женщин, для которых выход на пенсию чаще всего означает освобождение.

А во время второй половины передачи, где говорилось об идеологических позициях Бобра* и ее спутника, их отрицании буржуазных ценностей, тогда как они не только были выходцами из той среды, но она глубоко отпечаталась на всем их образе жизни, поведении и вкусах, мне вдруг стало ясно, что они на всю жизнь сохранили это хорошо известное бунтарство против родителей, которое мы называем переходным возрастом, когда агрессия и вызывающее поведение прямо пропорциональны прочной привязанности к ценностям, усвоенным в изначальной социальной среде.

* Прозвище Симоны де Бовуар по звунию ее фамилии с английским beaver.

САРТР, БОВАРИЗМ И КРУЖЕВНАЯ САЛФЕТКА

Учитывая размах, который в последние дни принял обсуждение жизни легендарной пары Сартра и Симоны де Бовуар, их пресловутой системы случайной любви, равно как и тонкостей стратегии и тактики, присущих этому занятию, и, наконец, чтобы продолжить тему письма читательницы, приведенного в предыдущей главе, я разыскал в своих записях заметки, сделанные когда-то во время десятичасовой беседы между нашим великим патриархом экзистенциализма и его подпевалой Мишелем Конта, которую в течение недели транслировали по каналу «Франс кюльтюр».

Вот некоторые отрывки из нее: в какой-то момент Сартру задали конкретный вопрос о случайной любви, на что он ответил следующее:

— Я обязан перед своими слушателями честно-сердечно (*sic!*) признаться, что в настоящее время состою в любовных отношениях с не менее чем семью женщинами, из которых Симона, разумеется, остается главной и центральной фигурой и т. д.

Конта: С семьёй, вы сказали?

— Да, с семьёй, поскольку, видите ли, каждая обладает особой индивидуальностью и... (следует длинное рассуждение о женской душе и ее удивительных свойствах).

Чуть погодя Конта говорит:

— Всем известно, уважаемый мэтр (или как-то так), что ваше творчество, само по себе обширное,

породило массу толкований, в десять раз превышающих его по объему и...

Сартр перебивает:

— Гораздо больше, чем в десять раз!

— Значит, вам случалось их читать? — спрашивает Конта.

— Да, да, время от времени...

— Узнали ли вы из них что-то новое или открыли какие-то новые грани самого себя?

— Абсолютно ничего не узнал! Совсем ничего!

Далее идут (согласно моим записям) жалобы на скучку, которую всегда нагоняет старческая болтовня друзей-рөвесников!

Nota bene:

1. Понятие боваризма подразумевает способность, присущую человеку, неизбежно представлять себя не тем, кем он является на самом деле (или, по крайней мере, в глазах окружающих — что по-научному в старину называли кинестезией*). Это свойство — мощный двигатель, врачащий великое колесо мира, которое, в свою очередь рождает ярмарку тщеславия и иллюзий — иллюзий и тщеславия, которых, как мы ежедневно в том убеждаемся, не в силах избежать никто, даже очень сильные и сложные прославленные умы.

2. Если взять на себя труд прочесть некоторые работы Альфреда Адлера (специалиста по комплексу неполноценности), можно узнать, что то, что обыч-

* Кинестезия — род смутного понятия, которое мы имеем о самом себе независимо от физических ощущений (Словарь французского языка).

Недавно, когда я листал книгу графини де Сегюр, на второй странице сказки «Красавица, умница и добрая душа» мне попался прекрасный пример кинестезии: «Как все нелепые создания он был очарован собственной персоной и ни капли не сомневался в том впечатлении, которое производил на окружающих». (Примеч. автора.)

но принято называть комплексом превосходства (у каждого в окружении найдется представитель этой высокомерной категории...), всегда не что иное, как стремление преодолеть комплекс неполноценности.

Кроме того, продолжая эту тему сартровского фатовства и самозаблуждения (только ли на склоне лет?), мне хочется привести здесь несколько отрывков из текста двоих партнеров Фруттеро и Лучентини*, вошедшего в их знаменитый сборник эссе под названием «Превосходство глупца». Эссе называется «Старая куртка профессора Сартра» и начинается с некоторых реплик из интервью, данного героем статьи журналу «Эсквайр», также опубликованного в итальянском «Эспрессо». В нем Сартр в самом начале заявляет, что больше не носит пиджаков, а только куртки, как ту, что он сегодня «демонстрирует» на себе, которую купил в Венеции летом 1968 года, когда после майских манифестаций решил, что в своем возрасте может себе позволить одеваться по своему вкусу, поскольку долгие годы он думал, что буржуазная одежда — костюм, рубашка и галстук — просто ужасна, но считал себя обязанным их носить, чтобы не выглядеть сумасшедшим.

Однако, как отмечают Фруттеро и Лучентини, во времена наивысшего успеха его творчества (когда его пьесы одновременно ставились в двух-трех театрах Парижа, а книги читал весь литературный бомонд) большинство людей любых социальных слоев давно уже носили свитера, рубашки с воротом нараспашку и куртки, и только Сартр продолжал одеваться у портного. Возникает вопрос, почему он так упорно оставался узником того, что сам же называл в интервью «жуткой буржуазной униформой».

* Карло Фруттеро (1926–2012) и Франко Лучентини (1920–2002) — итальянские писатели детективного жанра, работавшие в соавторстве.

Быть может, причина кроется в том, что, несмотря на свой успех, в глубине души Сартр оставался профессором философии, на лекциях с легкостью делал обзор сложнейших философских систем и давал беглые характеристики тысячелетним цивилизациям, но каждый вечер возвращался домой, где столы украшены кружевными салфетками, подаренными старой тетушкой? И, как добавляют двое приятелей, для такого человека, как он, война в Испании, сталинизм, Сопротивление, атомная бомба, беспощадная индустриализация, выход на мировую арену азиатских стран или маоизм очень мало могли повлиять на его взгляд на мир, потому что за всем этим была белая рубашка, костюм-тройка, университетская аудитория, с трудом добытая кафедра, внимательные и почтительные студенты на скамьях, а вечером, на склоне дня, утешительное свидание с кружевной салфеткой. Что позволяет предсказать, какой травмой стал для подобных людей, законсервированных в своих привычках, майская буря 68-го года...

Однако, заключают Фруттеро и Лучентини:

...еще не все было потеряно; ученики предоставили профессору последний шанс: ему оставалось лишь встать на их сторону, прикрыть их разрушительную деятельность своим бесполезно знаменитым именем, отказаться от своих вкусов, привычек, утешительного чтения и отныне говорить и писать только о политике, массах, восстаниях и революциях. И прежде всего ему пришлось надеть куртку. Сартр натянул ее на себя, как натягивают спасательный жилет, но нас пимало не удивляет, что купил он ее в Венеции. Не исключено, что он, вполне закономерно, заскочил на Бурано*, чтобы купить пару-тройку кружевных салфеток.

* Бурано — остров в лагуне Венеции, славится своими кружевами.

ПОД ДЕЙСТВИЕМ СВЯТОГО ДУХА ЭСТЕТИКИ

Меня пригласили послушать актера, который в присутствии автора читал длинные отрывки из книги, по-видимому имевшей недавно большой успех и напечатанной в одном из наших престижнейших издательств.

В этом романе рассказчик, который, как сразу становится ясно, является альтер эgo автора, повествует о том, как однажды утром неожиданный порыв заставил его бросить работу и привычные обязательства, чтобы дать волю внутренней поэзии, которая, как он чувствовал, зрела в нем. И вот, проходя по парижскому мосту, он великолепным жестом (который обязательно покажут в кино) швыряет «ветру истории» странички из толстых папок, которые он таскал в своем бюрократическом портфеле. Этот единственный миг освободительного экстаза передан со сдержанностью и мастерством, достойным лучших англосаксонских авторов школы антипсихологии, согласно которой человек не может как следует контролировать импульсы своего подсознания (хотя в данном случае поводов для волнения нет!).

Затем следует несколько удивительный (я ожидал рассказа о том, как герой покатился по наклонной плоскости, примерно как в книге Джорджа Оруэлла «Фунты лиха в Париже и в Лондоне», или что-нибудь в стиле Генри Миллера или «Голода» Кнута Гамсuna, где автор перечисляет множество

законных и незаконных хитростей, помогающих выжить), итак, следует рассказ о скитаниях нашего героя по разным европейским столицам, и это путешествие (в духе неоэкзистенциализма) толкает его на поиски — надо сказать, слегка туманные, — но которые все-таки выливаются в непреодолимую потребность взять ручку, чтобы посредством письма утолить свою жажду самовыражения. Тут начинаешь понимать, что этот роман не просто о социальном и онтологическом освобождении, но и о спасительном и героическом возрождении самого себя. Сюжет вполне классический, но, должен заметить, прекрасно проработанный. На восемнадцать баллов из двадцати!

Когда чтение отрывков закончилось, автор — красивый, робкий и стеснительный парень — поднялся на сцену и, преодолев предварительную изящную нерешительность, пояснил нам с тем же пламенным лирическим красноречием, что и в его книге, как, разорвав цепи буржуазного общества, полноправным членом которого он являлся, он кочевал с места на место в поисках «настоящей жизни», «своего» места в подлунном мире, короче, в поисках своей истинной судьбы. Подобно кораблю, сбившемуся с курса, он бороздил океан пришедшей в упадок Европы в поисках тихой гавани своей души. И все это, добавил он, в течение долгих пяти лет!

При этом уточнении во мне проснулся злой классовый интерес: в глубине души я не мог не задаться вопросом, как можно прожить на книгах и воде, в течение пяти лет и, по всей видимости, без всяких затруднений, путешествовать по главным столицам Европы... Однако поскольку ни в тексте, ни на словах он ни разу не коснулся материальной стороны, я решил, что для некоторых подобные вопросы излишни. У меня уже возникало похожее чувство, ког-

да я смотрел фильмы Вима Вендерса, герои которых путешествовали по миру с поразительной легкостью, или когда общался с современными художниками, порхавшими с одного биеннале на другой и с лондонской выставки на нью-йоркскую, даже не вспоминая о деньгах. Теперь я понимаю, как, должно быть, глупы знакомые мне начинающие художники, которые перебиваются скучной, отупляющей работенкой в надежде урвать несколько часов вдохновения, свободного от мыслей о деньгах, тогда как им всего лишь нужно поддаться вненациональному лиризму, ибо, по всей видимости, перед теми, кому хватило на это храбости, материальный вопрос больше не стоит и разрешается сам по себе при посредстве международного Святого Духа эстетики!

Однако уже потом, когда я шел к выходу по коридору мэрии Шестого округа (в Париже, конечно!), где была организована встреча, мою озадаченность как рукой сняло после окончательного разоблачения. Кто-то рассказал мне, что автор, чьи проникновенные отрывки мы только что слушали, является протеже одной из главных литературных величин квартала Сен-Жермен-де-Пре.

СОБАЧЬЯ БОЛЬ

На восемнадцатом этаже башни у окружной дороги пожилая женщина, довольно известный автор, пытается писать новую книгу, а на узком балконе невысокого дома напротив тоскливо и беспрерывно воет собака, которую постоянно держат на привязи и частенько бьют. Женщина не может сосредоточиться, вой мешает писать. Однако когда она пытается привлечь внимание соседей (с которыми встречается и иногда разговаривает только в лифте), обнаруживается, что одни якобы ничего не слышат, других это не беспокоит, а третьи — которые робко возмущаются в ответ на ее слова — не решаются действовать сообща или попросту боятся выделиться и иметь дело с хозяином пса (который, как известно, уже угрожал некоторым жалобщикам).

Итак, в этом романе («Собачья боль» Клер Эчерелли, 2007 г.) в сдержанном, проникновенном стиле говорится о досаде и разочарованиях геройни, от которой постепенно отворачиваются соседи и отстраняются близкие (как воинственные ультраправые друзья, всегда готовые на борьбу за права человека в далеких странах, так и ее собственные дочери, зараженные удобным мелкобуржуазным равнодушием), предпочитающие считать ее одиночкой стареющей женщиной со слабыми нервами.

Клер Эчерелли, чей первый тревожный роман «Элиза, или Настоящая жизнь» (премия «Фемина» за 1967 год) имел большой успех, в этой истории,

на мой взгляд, очень наглядно изобразила современный мир, вечно покорный разным видам зачаточного тоталитаризма. Известно, что американские военные, освободившие концлагеря в Германии, убедились, что люди, жившие по соседству, предпочитали утверждать, что ничего не знали, не видели и не слышали. Также известно, с какими трудностями столкнулись выжившие, прошедшие через этот ад, чтобы доказать правдивость своих рассказов. Примо Леви говорил, что в Аушвице ему снился один и тот же кошмар: он снова дома после спасения из лагеря и хочет рассказать о том, что пережил, но никто не хочет его слушать. Рут Клюгер, также уцелевшая в лагере, упоминает резкую настороженность своего окружения, когда она хотела организовать конференцию в США, чтобы рассказать о пережитых ужасах. Заметим по ходу, это, быть может, и объясняет, что столько выживших предпочли молчать.

Однако, возвращаясь к книге, думаю, не следует сбрасывать со счетов, что именно женщина написала эту аллегорию нашего времени, жертвой которого стало животное. Несколько лет назад другая женщина, Элизабет де Фонтене, выпустила удивительный сборник философских эссе, озглавленный «Молчание зверей», где говорится, что наша нынешняя цивилизация, которая всегда отличалась презрением к животным, а следовательно, и ко всем существам якобы примитивным и слаборазвитым, — источник любого враждебного отношения.

Поскольку часть года я провожу в деревне, то знаю много пламенных борцов «за права человека», которые живут в двух шагах от гигантских батарейных животноводческих хозяйств и ничуть не переживают. И все-таки мне кажется, и боль-

шая заслуга книги в том, что она беспощадно напоминает об этом, что равнодущие к страданиям братьев меньших — пусть на первый взгляд их сознание и не такое развитое, каким любим похвастаться мы, — есть признак умело завуалированной тоталитарной тирании.

ЖИЗНЬ ИЛИ КОШЕЛЕК!

Что, если так называемый «спад экономики», про который нам последнее время пружжали все уши, только начало естественного «упадка»? Не так давно мне часто приходилось ездить на скоростных поездах, и меня чрезвычайно поразила одна вещь: несмотря на великолепные осенние пейзажи, открывающиеся нашим глазам на разных участках пути (особенно на востоке Бургундии), ни один пассажир моего вагона не обращал ни малейшего внимания на виды за окном: все были заняты либо чтением газет или книг, либо графиками и подсчетами, кто-то внимательно изучал экран своего компьютера или мобильного телефона, кто-то слушал музыку в плеере.

Я уже сделал подобное — в каком-то смысле пророческое — наблюдение в США лет пятнадцать назад, когда ехал по одной из последних действующих железных дорог этой страны, линии между Нью-Йорком и Балтимором поездом компании «Амтрак»: окна вагона были настолько затемнены, что увидеть что-либо снаружи было почти невозможно, разве что поставить руки козырьком. Казалось, мы путешествуем в движущемся тоннеле. Причину этого я скоро понял. Похоже, что в этих вагонах — конечно, весьма комфортабельных — пассажиры хотят лишь одного: обсуждать без умолку (громогласно) и кто во что горазд последние достижения в спорте, космических запусках и финансах;

астрономические цифры двух последних пунктов приводят в особенный восторг эту простоватую публику*. Стоит ли удивляться, что эти люди отныне считают, что никакой угрозы экологии планеты не существует, и что они вместе с тем позволили расплодиться на своей обширной территории мерзвам-манипуляторам в белых воротничках, которые только и делают, что пускают им пыль в глаза и обманывают своих наивных ошеломленных жертв фокусами с кредитными картами?

Напрашивается очевидный вывод: органы, управляющие Северной Америкой, давно утратили здравый смысл.

И мне показалось — а увиденное в поезде служило тому подтверждением, — что мы тоже мчались

* «...эти цифры — идеологические тучи наших модных систем, искусство их преподносить говорит о решимости тех, кто ими манипулирует, чтобы ввести нас в заблуждение. В статистике есть что-то мистическое, верные сторонники внимают ей, как церковной латыни, они и на колени бы пали, скрестив на груди руки и закрыв глаза, но нельзя — мода уже сменилась, хотя готовности к этому у них хоть отбавляй. Я лично ничему этому не верю, цифры совсем не убеждают меня, и я говорю обо всем этом целиком, об этой волне, которая уносит нас и суть лишь порождение самой себя, словно затем, чтобы вернее помутить наш разум своим упоением. Опьянены ли мы? Думаю, да, и реже всего нас волнует математическая точность, столь чуждая общему настроению, которое нас воодушевляет, в целом мы совершенно не понимаем себя, человек стал рабом содержания своего ума. И как защититься от содержания своего ума, если нами управляет непоследовательность? На чьи авторитеты равняться? На какие ориентиры? Какую систему мер и веса? Все расплывчато, и мы копошимся в этом колебании, к которому привыкаем день ото дня, постоянное колебание становится нашим главным алиби и конечным итогом тысячи усилий, которым тем не менее руководил здравый смысл». Альбер Карако. «Эссе об ограниченности человеческого ума». (Примеч. автора.)

(к мести будет сказано) по тому же пути безрассудства. Для кого же, коротко говоря, еще имеет хоть какое-то значение то, что раньше называли «природой»? Сами экологи признавали, что трудятся на пользу антропосферы, и все, похоже, согласны погрузиться в почти полностью виртуальный мир, где любование пейзажем будет означать лишь видеоЭкран и фильмы, надлежащим образом снятые признанными операторами или стилизованные одним из многочисленных исполнителей индустрии мультипликации — то есть в виде огромного и очень успокаивающего мира Диснея, где неуместные шероховатости реального мира будут стерты, слажены, где животные будут послушно вести себя как люди, в соответствии с нашими нравственными устоями, где солнце, дождь, насекомые, растения, реки и леса будут лишь служить препятствиями в теленграх и в том, что называется «экстремальными видами спорта» в реалити-шоу.

Вот к чему мы пришли через двадцать столетий войны церкви (как замечательно это объясняет философ Роберт Харрисон в своей книге «Леса: тень цивилизации») с миром природы, почитаемой христианским миром средоточием сил Зла, а вышеупомянутая экспериментальная наука всего лишь пошла по ее стопам к так называемому прогрессу, который подразумевает абсолютное превосходство человека над остальными видами — животными и растениями — этой планеты*.

В тот день мои попутчики были, похоже, сильно расстроены постоянным неизбежным переполохом в мире финансов — тоже виртуальном, — в котором

* «Каждая наука продолжает нести вместе с багажом своих принципов, методов и теорем сущность религии». Освальд Шпенглер. «Закат Европы» (цитирую по памяти). (Примеч. автора.)

ни они, ни так называемые специалисты (достаточно послушать противоречивые споры экспертов, чтобы в этом убедиться) ни капли не смыслили*.

* В своем шедевре «Значимость жизни» китайский философ-эмигрант Линь Юйтан так говорит о политэкономии: «Возможно, я не понимаю политэкономии, но и она не понимает меня. Потому что она до сих пор топчется на одном месте и едва ли смеет позиционировать себя как науку. В политэкономии печально то, что она не является наукой, пока держится за товар и не идет дальше, к силам, движущим человеком; но, даже перейдя к этим силам, она становится не наукой, а всего лишь псевдонаукой, пока пытается рассматривать эти силы только с помощью статистики. Она даже не выработала способ, подходящий для изучения человеческого ума, и, если она перенесет в мир человеческой деятельности свои математические методы и любовь к графикам, ей грозит большая опасность застрять в невежестве. Поэтому всякий раз, когда необходимо принимать какие-то экономические меры, двое экономических экспертов представляют прямо противоположные предложения. Политэкономия прежде всего не считается с идиосинкразиями человеческого ума, о которых у экспертов и мысли не возникает. Один полагает, что, если Англия откажется от золотого эталона, это будет катастрофой, в то время как другой с тем же апломбом убеждает, что подобный отказ — единственное решение. Когда люди начинают покупать или продавать, возникает проблема, которую лучшие эксперты не в состоянии предугадать. Только благодаря этому факту и возможны биржевые спекуляции. Неоспоримо то, что биржа, даже используя точнейшие мировые экономические показатели, не может научно предсказать падение цен на золото, кредиты или товар. Причина этого в человеческом факторе, и когда многие продают, некоторые начинают покупать, а когда многие хотят купить, совсем немногие начинают продавать. Именно таким образом действует сопротивление и нерешительность человека. Вероятно, стоит предположить, что тот, кто продает, считает сумасшедшим того, кто у него покупает, и наоборот. Кто из них сумасшедший, только будущее покажет. Это всего лишь иллюстрация катризов и непредсказуемости человеческого поведения, которая верна не только для жесткого и прозаичного мира

Словно некий воображаемый механизм вдруг зазвелся сам по себе, и никто не мог с ним справиться. Но стоит ли поистине удивляться, когда осознаешь, как с каждым днем растет пропасть между желаниями нашей души и плановыми теориями технократов, запертых в своих схемах?

Сама по себе экономика, в первоначальном смысле этого термина, на которой должна была строиться наша материальная жизнь, оказалась слепо подчинена и полностью зависима от вдвойне виртуального, почти воображаемого мира, основанного на математических уравнениях и зигзагах графиков, названного «экономической реальностью», от долга, ВВП, да мало ли чего еще? Но в тоже время за темными стеклами нашей добровольной слепоты на планете с непредвиденной быстротой становилось жарче, пестициды необратимо загрязняли землю, реки и леса, оседая в нашей крови, больницы переполнялись раковыми больными всех мастей, а большинство видов диких животных оказались на грани вымирания... в том числе несчастные пчелы, которых у нас есть все основания считать полезными. Но конечно, совершенно необходимо увеличивать экономический рост, поддерживать и прославлять карточные игры, в которые играют между собой в своих бункерах с микроклиматом эти избалованные и надменные взрослые дети мировой финансовой системы!

И что же теперь удивляться тому, когда вдруг, разом, непостижимым образом — быть может, это

бизнеса, но и для общего хода истории, который формирует психологию и реакция человека на моральные ценности, обычаи и социальные реформы».

Добавлю еще:

«Экономисты — это хирурги, которые с помощью тончайшего скальпеля и зазубренного ножа оперируют мертвое и умерщвляют живое». Никола де Шамфор. «Максимы и мысли». (Примеч. автора.)

стало лишь естественным регулирующим самовосстановлением реальности — этот виртуальный пузырь вдруг с грохотом лопнул, вызвав целое финансовое цунами? Скорее похоже, что мы по глупости сочли разумным и слишком серьезно отнеслись к способу мыслить категориями нелепой и безумной реальности, чересчур доверились напыщенной и якобы научной рациональности, которая называется математизмом. Как будто в том, чтобы надлежащим образом ухаживать и поддерживать отличную работу все более изощренных машин, было неопровергимое доказательство того, что мы шли верным путем, что это необходимо, чтобы улучшить нашу жизнь и позволить нам весело проводить время. Разве пресловутая «неопровергимая» истина десятилетиями не внушалась нам теми, которых, не стесняясь, нужно назвать «верховными дураками», все эти блестящие умы, отточенные и квалифицированные (основной костяк научно-технического международного сообщества), которые в большинстве своем, вероятно, сами того не подозревая, встали на путь безрассудства вселенского масштаба. «Взгляните, как это хорошо работает!» — говорили они... К сожалению, вопрос в том, за счет чего это так хорошо работает и до каких пор, потому что давно уже стало ясно, что время истекло. Нет, это уже не работало! Все стало чересчур сложным и хрупким из-за громадности системы, внутри которой малейшее вмешательство истинной реальности могло затормозить работу всего механизма — и никто уже не мог определить, с какой стороны она может туда просочиться...

Если хорошенько подумать над тем, какова же эта непреложная догма, на которой зиждется наш функционалистский фанатизм, вывод будет очевиден — «постоянная экспансия», то есть, по сути,

евангельский лозунг «Плодитесь и размножайтесь!». Плодиться и размножаться, но для чего? Чтобы достичь этой пресловутой «точки Омега» унылого бедолаги Тейяра де Шардена*, который, насколько я понял, преспокойно воображал себе мир, в котором всякое разнообразие будет поглощено каким-то урчащим омертвляющим единством, кошмаром угрюмой монотонности? Плодиться и размножаться, чтобы в конце концов словно плодовитые крысы на перенаселенном острове мы начали пожирать друг друга раз от раза все с большей жестокостью? Плодиться и размножаться, чтобы жить в скученности и тесноте заражающих грязью мегаполисов, чтобы с трудом выживать в мире, лишенном многообразия красок — носить форму и делать все по подсказке, как гуманоиды, превращенные в роботов, в романах Оруэлла и Хаксли?

Несколько лет назад научный конгресс социологов (как видно, чуть менее скованных диктатом духа времени) собрался, чтобы определить положение на планете. На нем была высказана любопытная гипотеза: что, если наша Земля является живым вегетативным организмом, реагирующим медленно, но ощутимо и способным к периодической саморегуляции? Организм получил название Геи, как и сама гипотеза. На той же встрече была высказана мысль, что мы, жители Запада, являемся единственным сообществом, не желающим признавать нашу мать-Землю полноценным живым существом, с собственной волей и намерениями, и что мы без конца провозглашаем самих себя «вершителями» судьбы планеты. Очень старые цивилизации, такие, как индийская и китайская, гораздо более

древние и сложные, чем наша, учили, однако, тому, что нужно очень внимательно относиться к возможным физиологическим реакциям Геи — иначе это чревато изgnанием с ее поверхности. И если следовать гипотезе Геи, не будет столь уж безумным вообразить, что эта богиня-кормилица, которой так долго грубо помыкали, могла напомнить нам о себе предупредительными толчками.

Остается все-таки опасаться, что наш слепой рационализм так и не даст нам прислушаться к этим предупреждениям и начать спасительное, скрупулезное и постепенное переустройство всей системы, разумное снижение темпов развития, которое редкие голоса в отчаянии проповедовали в пустыне и которое в качестве временной меры принято недавно для восстановления финансового равновесия, и мы устремимся к еще более необдуманной гонке. Однако ради обыкновенной предусмотрительности, ради элементарной осторожности стоит задуматься, а вдруг, несмотря на наше высокомерное прометеево самодовольство, этот пресловутый экономический спад и есть один из первых толчков, возвещающих о великом гневе, который совершенно справедливо накопился у Геи против нас и к раскатам которых мы упрямо предпочитаем оставаться глухими.

* Пьер Тейяр де Шарден (1881–1955) — французский теолог и философ, один из создателей теории ноосферы.



ЧЕТЫРЕ НЕДОУМЕННЫХ ДНЯ
В ЛОНЕ СПОРТИВНОГО
ПОТРЕБИТЕЛЬСТВА

«Ролан-Гаррос»-2007
Среда, 30 мая

НЕКИЙ ДИСКОМФОРТ

Вчера под лучами солнца «Ролан-Гаррос» как обычно вновь забурлил. Пока я прокладывал себе дорогу к журналистской трибуне, протискиваясь через длинные очереди к дополнительным местам, тщетно высматривая улыбки на лицах нетерпеливых людей и сочувствуя тем, кто чувствовал себя в стороне от события, на экране моей памяти невольно возникли такие же многочисленные очереди, которые я видел в странах Восточной Европы в советскую эпоху, очереди у государственных музеев, отбившие у меня желание посмотреть выставку, очереди на подъемник на лыжных курортах, очереди на книжных ярмарках у стендов успешным писателем и, наконец, длинная вереница автомобилей возле пункта уплаты дорожной пошлины, на которые я несколько раз нарывался, возвращаясь домой после выходных.

Больше всего в таких случаях меня волновало то, что отражалось на лицах людей: покорный, угрюмый фатализм и смутная тревога. По правде сказать, я вижу в этом симптомом главной болезни нашего времени: парадокс, который, быть может, можно было бы назвать «массовым индивидуализмом», присущий цивилизации, которая, провозглашая во всеуслышание права отдельной личности, без конца превращает людей в безликую массу.

На мой взгляд, это коллективное помешательство наиболее ярко выражено в навязанном развитии системы звезд. На «Ролан-Гарросе» оказываешься в самом центре этой двойственности, этой скрытой дихотомии. Например, знаменитые крики «ола!», которые, как вчера во время матча между Гаэлем Монфисом и Оливье Рошю, поднимают на стадионе волну в коллективном порыве зрителей, утверждающих свое право на существование, обреченных на пассивное наблюдение в течение нескольких часов, не это ли очевидный признак объединений в бригады современных толп?

Еще я вспомнил, как знакомят с монитором (кажется, его называют «водителем зала») небольшие группки зрителей, приглашенных в студию на телепередачи, гостем которых я был, как этот «водитель» предписывает им громко аплодировать или смеяться по его сигналу, много раз репетируя с ними этот сценарий перед началом передачи.

Чтобы дать наглядный пример словам, расскажу один случай, произошедший несколько лет назад на трибунах «Ролан-Гарроса». Я пришел посмотреть финал парижского чемпионата второй группы участников, где выступали — французский уровень тенниса, конечно, смотрелся средним рядом с лучшими в мире американцами — два замечательных спортсмена-любителя, показавших очень красивую игру. Прямо надо мной сидели тогдашний президент и вице-президент Французской федерации тенниса. Матч подходил к концу, и они обсуждали между собой вручение кубка, когда один спросил у другого: «Шампанское будет?» На что тот ответил: «Да ну, перестань!» Этот чемпионат состоялся за несколько дней до «Ролан-Гарроса», и впоследствии я убедился, что в течение двух недель главного турнира — престиж обязы-

вает! — шампанское на трибуне федерации текло буквально рекой.

Легко привести массу подобных примеров, наши глаза всегда прикованы — или, скорее, приклеены, как у детей, к экранам — к выступлениям звезд, и мы презираем простых любителей, хотя они-то и есть главная поддержка спортивного сообщества. Я склонен думать, что мир, в котором так поступают, мир, где так называемые «любители спорта», если говорить только о них, предпочитают в солнечный день сидеть у экранов и смотреть матч антиподов, в то время как в двух шагах на улице сражается команда местного клуба на глазах у кучки верных болельщиков и сочувствующих собак и кошек, а может, и нескольких слабоумных голубей, такой мир очень серьезно болен.

Все это говорилось к тому, что лично я, несмотря на удовольствие, которое испытываю, глядя, как мелькает между ракеток магический желтый мяч на великолепных кортах «Ролан-Гарроса», принятый и отбитый с безупречной легкостью и грацией виртуозами, этими монстрами — профессионалами тенниса, невольно испытываю двойственное чувство: восхищение и крайний скептицизм.

Вчера вечером, катаясь на велосипеде вдоль ограды «Ролан-Гарроса», я доехал до парка, где находятся городские прокатные корты, и мое внимание привлекли взрывы смеха и восклицания двух молодых игроков, довольно неловко посылавших друг другу мяч. И тогда я понял, что вот уже много лет я не видел и не слышал, чтобы на теннисном корте кто-то смеялся!

Спорт деградирует не потому, что мы относимся к нему слишком серьезно, а потому, что его лишают своеобразия. Притягательность игры в том, что мы

придаем важности действию, которое этой важности не имеет. Когда игроки и зрители целиком подчиняются правилам и условностям, они действуют заодно, создавая иллюзию реальности. Тогда игра становится спектаклем жизни, в котором каждый участник исполняет определенную роль, как в театре. В наше время подобные занятия утрачивают свой характер иллюзии, особенно в области спорта. Воображение и фантазия нашим современникам неприятны, и, похоже, что мы решили уничтожить невинное удовольствие перевоплощения, которое когда-то очаровывало и утешало. В случае со спортом игроки, промоутеры, болельщики — все сопротивляются иллюзии. Первые отрицают серьезность спорта, они хотят, чтобы их считали людьми, развлекающими публику (отчасти, чтобы оправдать свои солидные гонорары). Промоутеры подстрекают зрителей к фанатизму, даже в таких видах спорта, как теннис, где традиционно царила некоторая сдержанность. Телевидение породило новую категорию зрителей и превратило тех, кто присутствует на встрече и участвует, в тех, кто пытается попасть в поле камеры и привлечь внимание жестами и размахиванием флагов. Иногда самые горячие болельщики действуют более агрессивно, выбегая на поле или громя стадион после победы или поражения своей команды.

Кристофер Лаш. «Культура нарциссизма»*

* Кристофер Лаш (1932–1994) — американский историк и социолог.

Чертверг, 31 мая

ВИД НА ГРАНИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

Матс Виландер, поогорчившись вчера на страницах «Экип» из-за поражения Фабриса Санторо, на которого он всегда смотрел с восторгом и игра которого, по его словам, представляет собой самую суть тенниса, заявляет:

Сколько места остается [подразумевается современная игра] хитрости, тактике, маневру, размышлению, восторгу от прекрасно сыгранного очка, удовольствию выйти из затруднительной ситуации, благодаря своим серым клеточкам, короче, всему тому, что составляет красоту тенниса? Меня беспокоит эволюция этого спорта, потому что она опасна для будущего.

Да, для меня тоже Санторо был большим утешением последних лет после тенниса, где игроки похожи на роботов, и, подобно Виландеру, я тоже опасаюсь, что, увы, такой тип спортсменов находится на грани исчезновения.

На эту тему мне хотелось бы рассказать следующее: в прошлом был когда-то шахматный гроссмейстер по имени Михаил Таль, который стал чемпионом мира всего один раз. Однако на протяжении тридцати лет он считался лучшим действующим игроком, лучшим, но не сильнейшим (если вы понимаете, о чём я, а по опыту я знаю, что человеку

не всегда этого хочется...)! Объяснение содержалось в стиле игры Таля, вызывавшем восхищение своей изобретательностью, изяществом и вдохновляющим утопизмом. Некоторые поражения Таля восхищали больше, чем победы его соперников, ибо зачастую он терпел неудачу, будучи совсем близко к цели, задумав чудесную, захватывающую дух комбинацию, открывавшую бесконечные горизонты шахматной игры.

Одновременно с этим Таль был жертвой (это происходило во времена СССР) широкого поношения стиля его игры в пользу его соперника Ботвинника, который, словно математически запрограммированный бульдозер, утверждал стиль систематической беспроигрышной игры, как строительный инженер, которым он был по профессии — прекрасный прототип советского идеала, если таковой существовал. Рядом с этим ледяным эталоном Таль олицетворял неприемлемый вызов своей элегантностью и фантазией, столь отвергаемым системой.

Я полагаю, что в современном теннисе происходит примерно то же самое, только под другим углом — под углом промышленного утилитаристского потребительства, мы все подвержены такому же непримиримому конформизму, типичному для бывшего советского режима, и, вероятно, совсем не случайно, что Санторо — в свое время лучшего дублера французской сборной — не взяли на Кубок Дэвиса. Подозреваю, что его стиль, такой же экзистенциальный, как и теннисный, чересчур смущал чиновников Французской федерации тенниса.

После маленького предисловия перейду к удовольствию, которое я получил вчера ближе к вечеру, у корта номер 7, наблюдая изумительные подачи и удары с воздуха испанца Наварро Пастора (107-е

место в мировом рейтинге). Как чистокровный породистый жеребец, изящный и гибкий, этот игрок, который при первой возможности устремляется к сетке и каким-то чудом гасит удар с лёта (для меня, как можно догадаться, это высшее достижение в теннисных ударах!), олицетворяет собой не только анахронизм в мире профессионалов тенниса (о которых говорят, что они подходят к сетке, только чтобы обменяться рукопожатием в конце матча!), но и что-то вроде старомодного геройства, глядя на которое его соотечественники улыбаются, сочувственно покачивая головами и покручивая пальцем у виска.

Такой серии подач и ударов с лёта я не видел со времен Стефана Эдберга, с тем дополнительным преимуществом, что, подобно великим австралийцам семидесятых годов, Наварро Пастор умеет по инерции сопровождать мяч первой прямой подачи (волейболисты высокого класса в основном сопровождают то, что принято называть первой-второй, поданной более-менее низкой «свечой»). Надо сказать, что этому игроку удается поразительное число подач навылет (вчера он выполнил целых три подряд, как снайпер, попадая в одну и ту же точку центральной линии).

К сожалению, вчера ему достался соперник противоположного типа игры, солидный и pragmatичный Давид Налбандян, которого называют лучшим игроком, начинающим соревнование, и, несмотря на эффектные выпады нашего слегка романтичного героя (и к тому же очень красивого парня), то, что я называю «неумолимостью статистики», в конце концов только сыграло на руку этому молотильщику, обосновавшемуся (севшему в засаду, я бы сказал) у задней линии и решившему хладнокровно изрешетить этого гибкого зверька подачи, необду-

манно и почти нахально дразнившего его у сетки. Однако этот относительно напряженный матч (7/5, 6/4, 6/4) позволил мне в течение двух часов отдохнуть от столь излюбленной сегодня скованной манеры игры — того, что я называю «пинг-понгом с ногами на столе», этакое состязание в быстроте реакции, мячик-налево — мячик-направо, и никаких эмоций.

Мне кажется, что последние поэты тенниса — не думайте, я, конечно, не имею в виду Иоахима Гаске*, немного забытого теперь писателя из Прованса, автора книги «Упоение в боли», который ничего не знал о теннисе, а последних adeptов красивого владения ракеткой — последним эстетам тенниса следовало бы поставить памятник Наварро Пастору, последнему могиканину иберийской земли.

Ну а в наших краях с почтительным волнением поприветствуем то, что два дня назад было, вероятно — поскольку он сам так сказал, уходя с корта, — последним выступлением последнего фокусника желтого мячика, удивительного и, по нынешним временам, невероятного Фабриса Санторо.

Вторник, 5 июня 2007 года.

ЛАГЕРЯ ДЕТЕЙ БОКСЕРОВ

Этот здоровенный верзила, Игорь Андреев, с типично славянским, фаталистическим отношением к пропущенным мячам и буквально сокрушительным ударом справа, вчера просто ошеломил меня на корте имени Сюзанны Ленглен. Я даже не представлял, что так можно играть настолько долго, потому что удар справа высокой свечой да еще очень сильный требует — по крайней мере, у большинства смертных — колоссальной затраты энергии, однако Игорь невозмутимо наносил удар за ударом с легкостью, которую я не могу объяснить.

И, наблюдая беспомощность его великолепного противника Маркоса Багдатиса, шестнадцатого игрока в мировом рейтинге, я размышлял, каким образом можно было бы дать отпор в такой игре, а потому с нетерпением ждал следующего тура, когда противником Андреева будет горячий и предприимчивый Джокович.

Я вновь согласился с мнением Матса Виландера (похоже, не менее изумленного), высказанным в сегодняшней заметке. Однако в арсенале Андреева не только поразительный удар справа, но и очень высокая подача, вынуждающая выходить за пределы поля, выгоняющая соперника к боковым трибунам, таким образом, что все пространство корта остается

* Иоахим Гаске (1873–1921) — французский писатель, поэт и художественный критик, друг Поля Сезанна.

пустым, плюс ко всему, когда ему хочется сменить тактику, сложный резаный удар слева, и мяч после отскока летит очень низко, и, наконец, удар в боковую линию и чувство времени при смягчении удара.

Надо сказать, необычный стиль этого игрока приятным образом вывел меня из оцепенения, в которое я погрузился, прогуливаясь по стадиону, где тщетно пытался встретить оригинальность стиля игры среди юниоров, парных и смешанных парных игроков всех национальностей, боровшихся за победу.

Одна из причин этого нагоняющего тоску однобразия, как здесь, так и повсеместно — удушающий дух стяжательства, эта обязанность «бороться за показатели» и добиваться результата любой ценой, которой подчиняются (в большей степени, чем кто бы то ни было) спортсмены в мире, где правят деньги. В самом деле, последнее время я смог убедиться, что ни один профессиональный игрок не в состоянии внести что-то новое в технику игры по той простой причине, что его контракты следуют один за другим, а агентам не терпится сорвать урожай прибыли. Ни один из них не тратит время перед турниром на тренировку каких-то новых навыков, стараясь, например, отработать какой-то особый удар или хоть немного привыкнуть к новому покрытию.

Кто знает, какой результат выдал бы какой-нибудь Федерер на «Ролан-Гарросе», если хотя бы пару недель потренировался на его кортах? Потому что, поверьте мне, игра на этом покрытии не сравнится ни с какой тренировкой поиска, то есть поиска тактики и новых ударов.

Достаточно прочесть книгу, выпущенную нашей бывшей чемпионкой Катрин Танвье «Вычеркнутая из списков, от «Ролан-Гарроса» до социального по-

собия», чтобы убедиться в чудовищном и бесчеловечном характере спортивного шоу-бизнеса внутри и вокруг стадионов, о котором отваживаются писать очень немногие журналисты по той простой причине, что они сами участвуют в этой доходной системе. Бездушный шоу-бизнес, ни в чем не уступающий футбольным рекрутам, разъезжающим по некоторым регионам Африки и сулящим лучшую жизнь талантливым ребятишкам, босиком гоняющим мяч по растрескавшейся земле деревенской площади — понятное дело, от них тщательно скрывается, что из множества набранных останется лишь немного избранных. Подобная практика, как известно, оставляет за собой легионы никому не нужных людей, как в спорте, так и в какой-нибудь «Фабрике звезд», которые впоследствии — после стольких мечтаний о славе — не могут вновь адаптироваться к нормальной жизни. Эта удручающая особенность нашего общества, алчущего развлечений, мне кажется, достигает своего апогея в смелом недавнем репортаже «Специального корреспондента», снятом в лагере по подготовке детей боксеров в не помню уже какой азиатской стране. В нем показаны пятилетние дети, которых тренируют подобно военно-морским десантникам США, чтобы потом они участвовали в боях, формально запрещенных, но фактически терпимых, на деревенских площадях, где ревущая беснующаяся толпа делает баснословные ставки на исход боя без правил между двумя мальчуганами младше десяти лет, которые заканчивают его обессиленные и окровавленные.

Несмотря на более изысканный фасад и более закрытую для публики внутреннюю систему отбора, я полагаю, мы ни в чем не уступаем этим тренировочным лагерям с нашими различными академиями для одаренных детей, за тем лишь ис-

ключением, что здесь наносятся душевые, но от того ничуть не менее болезненные травмы, о чем свидетельствует книга нашего бывшего кумира восьмидесятых, Кати Танвье, испытавшей на себе и тяжело пережившей последствия этой вербовки. (И подождем такого же свидетельства другой нашей бывшей первой ракетки Изабель Демонжо, которая, пусть даже и косвенно, неизбежно осознает то преступление, которое совершают над детской душой новые барышники современного общества *rapem et circenses**.)

«Ролан-Гаррос»-2008, финал

СПЯЩИЙ В ТОЛПЕ

Как обычно, во время двухнедельного чемпионата по теннису «Ролан-Гаррос» я сидел на журналистской трибуне рядом со своим другом Джанни Клеричи, откуда мы любовались непобедимостью этого совершенно особенного в своем роде чемпиона Рафаэля Надаля (этот чертов парень никогда не делает явных ошибок!), но и были немного огорчены тем, что уже третий раз подряд нас разочаровал финал — достойный своего имени — большого чемпионата года на грунтовом покрытии, и чтобы немного отвлечься от этого эстетического безобразия, мы кто во что горазд изощрялись в остриях (Джанни — признанный весельчак Болонского университета), комментируя манеры и поведение разных «особ» на официальной трибуне слева от нас — «универсальную» улыбку Жана-Франсуа Копе из-за представительных и наверняка дорогих солнечных очков, то, как Розелин Башело достает зеркальце, чтобы проверить, хорошо ли на ней сидит строгая соломенная шляпка, Деланоэ о чем-то оживленно беседует с Кристианом Бимом (может быть, обсуждают проект расширения стадиона?), у Бернара Лапорта восхищенный и слегка недоверчивый вид (что в его положении неудивительно), всегда одетый с иголочки Билаян и Люк

* Хлеба и зрелиц (лат.).

Ферри*, как обычно щеголяющий одним из своих ярких пиджаков, которые, вероятно, дарят ему чувство глубокого удовлетворения быть самим собой — бедняга Роджер Federer («Poverino Federer!», бормотал Джанни при каждом обводном ударе испанского буйвола) пытался противостоять натиску иберийских мускул, сравняв счет во втором сете 3/3, дважды погасив красивейшие удары с лёта — он ненадолго прогнал разочарованную апатию стадиона, и толпа разразилась бурными, но, по правде сказать, отчаянными овациями... Итак, пока на переполненном стадионе происходили все эти мелкие события, а зрители несколько принужденно приветствовали отпор первой ракетке мира, я заметил среди толпы, которую обычно люблю разглядывать во время больших скоплений народа (на концертах, конференциях, крупных спортивных состязаниях или уличных праздниках), человека, спящего глубоким сном!

Пораженный этим зрелищем, я, как обычно, принял его за негласное противодействие истерии народных масс. Словно реальность хотела философки и с юмором призвать нас к порядку, показать, что весь этот ажиотаж — лишь вычурная игра, клочок пены на бушующей волне времени, мимолетный всплеск в продолжительном сне, и что всегда есть возможность потихоньку отстرا-

* Жан-Франсуа Копе — французский политический деятель, лидер фракции «Союз за народное движение»; Розелин Башело — на тот момент министр здравоохранения и спорта Франции; Берtrand Деланоэ — мэр Парижа с 2001 г.; Кристиан Бим — на тот момент президент Французской федерации тенниса; Бернар Лапорт — на тот момент секретарь министерства Франции по спорту; Даниель Билалян — на тот момент директор спортивных программ на французском телевидении; Люк Ферри — французский философ и писатель.

ниться. Еще я вообразил (когда настроение плохое, чего только в голову не взбредет), что в еще более ироничном смысле было возможно, что уснувшему снится, будто он наконец смотрит настоящий финал «Ролан-Гарроса», великолепный матч из пяти захватывающих сетов, где элегантность в сочетании с талантом рождают жажду победы и точных ударов любой ценой; а может, даже (почему бы и нет?) этот вдохновенный соннамбула из сочувствия к роверино Федереру рассудил, что единственно правильным будет (разве не говорят, что некоторые люди способны мгновенно уснуть во время публичного унижения?) погрузиться в сон, чтобы отрешиться от мучительной эффективности фактов.

Эти слегка бессвязные размышления (каждый борется со скукой по-своему) заставили меня провести параллель между зрелищем, которое представляют собой сегодня многие теннисные матчи (когда механические пасы с задней площадки корта наводят на мысль об отработанной заранее схеме, и которые, как недавно сказал мне Джанни, в Италии прозвали «соревнованиями по видеоиграм»), и услышанной позавчера новостью про японца из Токио, помешавшемся на видеоиграх, который прикончил пятнадцать человек (вероятно, придав этому символический смысл, перед храмом видеоигр японской столицы) и заявил полицейским, что хотел таким образом «проснуться», окончательно вырваться из своего виртуального мира.

Тогда я пожелал, чтобы, если уж на то пошло, мужчина, уснувший на трибуне в нескольких метрах от меня, пробудился в более мирном настроении (осторожность — не последнее из моих достоинств), и покинул трибуну на третьем сете при

счете пять ноль в пользу Надаля. Когда я прощался с Джанни со словами «до следующего года», он сстроил гримасу, как клоун Феллини, и ответил: «Возможно, возможно... Если до тех пор мне удастся пробудиться от этого странного сна!»

ТРИ ВЕЛИКИХ МЕЧТАТЕЛЯ
(АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ, ТОМАС
БЕРНХАРД, РЕМИ ДЕ ГУРМОН)

ДВУСМЫСЛЕННОСТЬ И МОГУЩЕСТВО МЕЧТЫ У АНТОНА ПАВЛОВИЧА

В четырнадцать лет я ужасно скучал на уроках в школе, а потому при любой возможности старался от них увильнуть и пойти в библиотеку, где на полках в идеальном порядке в красно-сером переплете стояло полное собрание рассказов Чехова с фирменной чайкой «Объединения французских издателей». Там я проводил волшебные часы, которые и составили мое настоящее образование.

Думаю, в то время в Чехове меня поражало больше всего то, что у него я находил мир таким, каким мне рисовала его моя детская интуиция, свободным от школьных и религиозных догм, которые всеми силами пытались привить мне. Я обретал право наблюдать за явлениями и людьми, не подвергая их моральной оценке. В то время меня поражала отнюдь не навязчивая «разочарованность» чеховских заключений, а, напротив, в прямом смысле «невероятная» поэтичность его произведений. Мне кажется, это чтение одновременно оградило меня не только от картезианского рационализма, но и от веры в возвышенно-чудесное, которая неловко пытается его заменить. Таким образом, полагаю, я сразу понял, чем на протяжении времени продолжала для меня оставаться сущность чеховских книг, которая проступает лишь водяными знаками и наверняка ускользает от сознания даже самого автора.

Да и не в том ли очарование всех великих писателей, чтобы оставить достаточно места между строк, дабы реальность, скользя сквозь нити повествования, внезапно всплывала на повороте страницы?

У Чехова мы видим мир словно «в зеркале, которое проносит вдоль дороги» рассказчик, который ограничивается тем, что холодно и аналитически следит за событиями, и такая позиция хороша потому, что позволяет нам воссоздать многообразие, непонятность и странность мира, такого, каким мы ощущаем его, когда попадаем в чужую страну, где наши моральные принципы уже не имеют значения. Тщательные описания, с легкостью отмеченные (по его собственному выражению) «точными, меткими деталями», приводят нас в замешательство, будят в нас неуверенность, поклонившуюся под спудом реальной жизни, например: какой смысл придать событиям, как разобраться в хитросплетении интриг, как определить характер встречающихся нам людей? Более того, будучи автором, он без конца рождает в нас ощущение, что ситуация вышла из-под контроля, персонажи живут своей жизнью, и он их больше не понимает. На эту тему мне хотелось бы процитировать слова художественного критика о другом великом писателе, который, как мы знаем, испытал огромное влияние Чехова (и который, надо отметить, также был врачом). Пико Айер говорит о Сомерсете Моэме:

Одним из великих талантов Моэма была способность посеять в нас впечатление, что персонажи ускользают от него и продолжают вести собственную жизнь. Иногда он даже прерывает действие на середине и вставляет путаное отступле-

ние, объясняя, почему не может понять поведения собственных персонажей, а также все обстоятельства истории, которую он пытается нам рассказать. Это, вполне очевидно, хитрая авторская уловка — он вновь и вновь ловко описывает собственную неспособность и, делая это, высвобождает нечто такое, что придает его историям редкостную двусмысленную непринужденность. Они колеблются и трепещут на краю бездны — тайного тяготения человека к хаосу.

И хотя стиль Чехова более лаконичный и отстороненный, нежели у Моэма, есть основание полагать, что он был начинателем этой литературной манеры. Однако я уже почувствовал, что душа Антона Павловича (как его уважительно называл его друг Бунин) была ареной подсознательного, так и неразрешенного конфликта между его едкой, почти научной, наблюдательностью материалиста и глубоким метафизическим, дальневосточным, одним словом, даосским (Бунин рассказывает, что родные Чехова имели ярко выраженные монгольские черты) чувством «хода вещей». Несмотря на свой резковатый позитивизм, приобретенный за время учебы на медицинском, и вечной тяге к точному диагнозу, в его произведениях постоянно и явно ощущается неизбежный антагонизм присутствующих сил, инь и ян без конца стремятся к равновесию. Этот двойственный взгляд отдаляет его от тяжеловесного морализма Достоевского и Толстого; это действительно скорее не манихейская концепция, а медицинский взгляд на мир, в котором рождаются определенные взаимодействия, пересекающиеся при малейшем событии.

У Чехова мало психологии: действие описывается извне, а нам, читателям, предстоит его объяснить,

если на это еще есть желание, ибо по мере чтения начинаешь чувствовать, насколько неуместно хотеть проникнуть в смысл безнадежно запутанных событий. Здесь, наверное, стоит вернуться к тому, что Бунин называл дальневосточным атавизмом у Чехова, и вспомнить эту старинную китайскую заповедь чань:

Если хочешь знать голую правду, не заботься ни об истине, ни о лжи. Спор между ложным и истинным — это болезнь духа.

Возможно, небесполезно заметить, что понятие голой правды чань, каковым оно приведено здесь, отсылает нас к тому, что мы сегодня называем «глобальной реальностью» в противоположность множеству мелких сиюминутных истин, которые ее составляют. Вот почему, я думаю, можно сказать, что Чехов внес свой вклад, хотя он это и отрицает, в философский дух, носящийся в воздухе своего времени: появление «феноменологической редукции» мира, чей основной принцип, как известно, — описывать вещь, строго избегая оценочных характеристик, — отказ от оценки позволяет основному смыслу, освобожденному от влияния наших желаний, выйти на поверхность сознания*.

Вот как философ Эдмунд Гуссерль определяет собственный метод:

* Жан Ренуар в своем знаменитом документальном фильме раскрывает метод работы над театральным текстом (впрочем, метод, о котором он говорит, ему самому был открыт Мишелем Симоном): заставить актера громко прочитать текст без всякого выражения, избегая любого эффекта, любого умысла, и повторять это столько раз, пока текст не утвердит сам себя, чтобы зажить собственной жизнью — в каком-то смысле очищенный от личного восприятия чтеца. (Примеч. автора.)

Метод представляет собой стремление через события и эмпирические факты познать «сущности», то есть идеальные значения. Они постигаются напрямую интуитивно и на конкретных примерах, детально и очень конкретно изученных.

Что еще делает Чехов?

И что, если, несмотря ни на что, нам кажется, что иногда мы различаем у него между строк нравственную оценку, которая, вероятней всего, могла бы ограничиться простым диагнозом: несчастье человека прежде всего в его неумении приспособиться к реальным обстоятельствам, потому что неизлечимый догматизм и закоренелый идеализм мешают эту реальность увидеть.

Чехов же описывает мир с радикальной объективностью, которую невозможно усвоить без суровой аскезы, без постоянного контроля за тем, чтобы взгляд не затуманили догмы. Сдержанность, которая вызовет ненасытное любопытство читателей, отчаянно жаждущих вывести на свет собственные предубеждения. В этом смысле Антон Павлович был просто денди нравственной элегантности, как явствует из свидетельств его близких, он всю жизнь был очень сдержан, когда речь шла о его личных качествах. Через эту аскезу, как в жизни, так и в творчестве, почти целиком очищенном от предрасудков своей эпохи, Чехов изо всех сил стремился к ясности, которая до сих пор служит образцом.

Однако — и в этом заключается главное — можно увидеть, что одной из основных характеристик его метода была двойственность, которая, если подумать, остается самым утонченным способом показать трагизм человеческой жизни. Послушаем, что говорит Жан-Пьер Вернан о человеке трагическом в античной Греции:

...эта логика допускает, что, если одно из двух противоположных мнений истинно, другое обязательно ложно. С этой точки зрения человек трагический солидарен с иной логикой, которая не проводит такой резкой границы между ложным и истинным: логикой риторов и софистов, которая в эпоху расцвета трагедии еще оставляет место двойственности, ибо в вопросах, которые она рассматривает, она не стремится установить абсолютную верность какого-либо утверждения, а создает *dissoi logoi*, двоякие речи, которые в своем противостоянии сталкиваются, не уничтожая друг друга, и любой из двух противников может победить в зависимости от воли софиста или силы его красноречия.

Да, эта чудесная двойственность, когда мы — с детства усвоившие священный принцип логической совместимости — заканчиваем какой-нибудь рассказ Чехова, снова и снова сбивает нас с толку. Не он ли говорил, что, когда писатель закончил рассказ, ему следует вычеркнуть начало и конец, ибо именно там примешивается личный взгляд, неизбежное стремление убеждать? Надо еще отметить, что его истории почти всегда заканчиваются неожиданно и протокольно сухо, лишая нас утешительной морали.

Мне кажется, наилучшим образом суть этой философской концепции выражена в словах Гёте:

Смысл жизни — в самой жизни.

* * *

А теперь стоит рассмотреть странную остаточную дихотомию между его пьесами и прозой.

Станиславский, первый исполнитель роли Тригорина в «Чайке»*, позднее признавался, что ему понадобилось много времени — хотя он и любил эту роль, — чтобы понять, что он играет. В то время Станиславский еще не прочел ни одного рассказа Чехова, а я думаю, что его драматургия не может быть понята целиком без прозы.

Если пьесы Чехова каждый раз отсылают нас к:

боязливым и прожорливым мелким чиновникам, вялой ностальгии людей свободных профессий в провинции, персонажам с лорнетом, бородкой и в потертом сюртуке, мечтаниям хворающих вечных студентов, меланхолии обедневших усадеб, скитанием по дальним гарнизонам и вздохам в деревенских садах, черным шалям взрослых девиц с вытянутым лицом, долгим разговорам на дачной террасе, где каждый говорит о своих разочарованиях, дамам с грустным взглядом, гуляющим с собачкой по мрачной набережной**,

и мы всякий раз находим в них повторяющиеся детали: ностальгические сожаления по несбыточному, ироничный и разочарованный анализ психологии неудач, разоблачение популистской лубочной религиозности, нелепость напыщенных благородных излияний, ожидание мессии и революционные программы, жестокие насмешки над идолами гуманной прозы и, наконец, неизбежный провал, постоянно угрожающий большинству человеческих предприятий, короче говоря, почти

* На самом деле первым исполнил роль Тригорина Николай Сазонов на сцене Александринского театра в 1896 г.

** Предисловие Клода Фриу для книжной серии «Библиотека Плеяды». (Примеч. автора.)

энтомологическое описание неудовлетворенных жизней, более или менее доведенных до отчаяния, связанных нитями заурядной судьбы... к тому же в дополнение ко всему этому в рассказах появляется основной и без конца возобновляемый элемент: идиллическое описание природы — тем более, надо сказать, идиллическое, чем сильнее надрывает душу сама история! И мне кажется, что именно в этой недостаточно отмеченной особенности — главной ценности чеховского творчества — содержится глубинная суть взглядов Антона Павловича.

В этом смысле Иван Бунин правильно сделал, что в свои воспоминания и заметки о том, кому он доводился другом, включил эпизоды, которые счел особенно показательными в том, что он называет просто «тонкой чеховской поэзией». Но на мой взгляд, там есть нечто большее: именно здесь по-немногу проявляется то, что следовало бы назвать «материалистическим романтизмом Антона Павловича», и мы начинаем понимать, насколько заповедь Поля Валери — который рекомендует, если черты лица проступают слишком четко, перевернуть карту — наделена здравым смыслом, потому что произведение не приводя в отчаяние, а отчаянно прорабатывается со скрупулезным и безупречным мастерством.

Тогда начинаешь подозревать не только, что из-под внешнего нигилизма и неумолимо негативного диагноза проступает горькое разочарование, но и более того — за тщательностью и талантом, которые это создали, скрывается указующий элемент. Однако суть этого подспудного чеховского указания представляется диаметрально противоположной иудейско-христианской морализации: возможное счастье следует искать не в нас самих и не в слепой вере в верховную мудрость транс-

центенного существа, а скорее в пантеистическом слиянии с природой, с окружающей нас Вселенной, с которой материально и органически связано наше живое тело. Практикующий врач, которым всегда оставался Чехов, получал деньги за это знание*.

Курдюмов, русский критик той эпохи, писал:

Личная философия Чехова связывала его с эпохой своим торжествующим рационализмом и позитивизмом. Но он не принял их до конца, не смог довольствоваться только ими.

Этот романтический пантеизм, который угадывается только в пьесах, особенно ощутим в великолепии пейзажей его рассказов.

Чтобы убедиться в этом, приведем несколько отрывков, выбранных Буниным:

На первых порах Старцева поразило то, что он видел теперь первый раз в жизни и чего, вероятно, больше уже не случится видеть: мир, не похожий ни на что другое, — мир, где так хорош и мягок лунный свет, точно здесь его колыбель, где нет жизни, нет и нет, но в каждом темном тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную. От плит и увядших цветов, вместе с осенним запахом листвьев, веет прощением, печалью и покоем.

«Ионыч»

В саду было тихо, прохладно, и темные покойные тени лежали на земле. Слышно было, как где-то дале-

* Хотя он и редко требовал вознаграждения. (Примеч. автора.)

ко, очень далеко, должно быть, за городом, кричали лягушки. Чувствовался май, милый май! Дышалось глубоко и хотелось думать, что не здесь, а где-то под небом, над деревьями, далеко за городом, в полях и лесах, развернулась теперь своя весенняя жизнь, таинственная, прекрасная, богатая и святая, недоступная пониманию слабого, грешного человека. И хотелось почему-то плакать.

«Невеста»

И в этом постоянстве, в полном равнодушии к жизни и смерти каждого из нас кроется, быть может, залог нашего вечного спасения, непрерывного движения жизни на земле, непрерывного совершенства. Сидя рядом с молодой женщиной, которая на рассвете казалась такой красивой, успокоенной и очарованной в виду этой сказочной обстановки — моря, гор, облаков, широкого неба, Гуров думал о том, как, в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве.

«Дама с собачкой»

* * *

Шекспир, как известно, сказал эту знаменитую фразу о ткани наших снов, из которой мы сотканы, Пруст говорил о сне, который окружает островок нашего дневного сознания, как загадочный океан, Кант гораздо более методично продемонстрировал, что с помощью логических аргументов невозможно уяснить самому себе, находишься ли ты в состоянии сна или бодрствования. В дальнейшем многие философы подчеркивали, что проблема восприятия

реальности совпадает с проблемой интенциональности, предшествующей физическим ощущениям, и следствием такого исследования являлась глубокая совершенно сновидческая неопределенность.

Если то, что я думаю о бессознательном вкладе Чехова в феноменологическую редукцию (которая была самопознающим образом, носившимся в духе той эпохи), имеет смысл, тогда неудивительно, что писатель столь одержимый точностью, каким был он, измерил границы только внешнего описания вещей и почувствовал значимость воспроизведения сновидческого в стремлении к более полному реализму. Вероятно, именно в этом состоит его великое новаторство в литературе, потому что он создал то, что современники называли «свойственной ему легкой поэтической дымкой», и которое, по-моему, является частью сна в нашем обычном восприятии мира. Вот что говорил критик В. Ермилов о драматургии Чехова:

...Чехов считает, что театр должен изображать повседневную жизнь обычных людей, но изображать так, чтобы эта повседневность была освещена внутренним светом поэзии, великой темы, чтобы за непосредственной реальностью, было еще и подводное течение.

Именно это «подводное течение» и составляет неповторимую реалистическую силу литературного творчества Антона Павловича.

В рассказе «Красавицы» автор повествует о двух случаях, произошедших в разное время, когда созерцание женского физического совершенства рождает у случайного зрителя тяжелую ностальгическую грусть и вместе с тем всеобъемлющую жалость. В повести «Степь» среди ночи является че-

ловек с добрейшей улыбкой в белых одеждах и с белой птицей в руке, ликующий от любви, пришедший к чужому ночлегу поделиться переполняющим его счастьем с подводчиками, увлекая их грустной мечтой и заставляя по-братьски сопереживать, и это наводит на мысли о том, что в творчестве Чехова каким-то странным образом проступают и черты платонизма, ибо все эти чудесные появления указывают на далекое воспоминание об идеальном состоянии, предшествующее упадку человечества, который он в то же время клеймит. Эти разнообразные мимолетные зарисовки рождают в нас туманное и неопределенное, но стойкое ощущение (звучавшее лейтмотивом в finale большинства его пьес): надежда на возможный мир, меньше подверженный одиночеству тривиальных страстей.

И тогда на память приходит фраза, однажды произнесенная в присутствии Бунина, а позднее прозвучавшая в «Чайке», которая могла бы служить квинтэссенцией двойственного искусства Антона Павловича:

Надо изображать жизнь не такою, как она есть, и не такою, как должна быть, а такою, как она представляется в мечтах.

ТОСКУЮЩИЙ КУКЛОВОД

ОДИННАДЦАТЬ КОММЕНТАРИЕВ К ТВОРЧЕСТВУ ТОМАСА БЕРНХАРДА

Прирожденный литератор тот, кто хочет всколыхнуть публику своим словом, не для того, чтобы что-нибудь изменить, а ради удовольствия движения, ради произведенного эффекта без личного вмешательства.

Карл Ясперс о Стриндберге

I) Всякий раз, когда я вновь позволяю себе увлечься многословными маниакальными разглагольствованиями Томаса Бернхарда, чарующая сила его глубоко пессимистической прозы рождает во мне одно ощущение: словно я непонятным образом (независимо от моего желания и будто во сне...) становлюсь одним из персонажей и нами управляет ловкий кукловод, вкладывая в наши уста язвительные речи, почти бредовые по смыслу, однако неотразимые.

Кажется, Томас Бернхард всегда удивлялся, что в конечном итоге к нему относятся так серьезно, и вовсе не считал себя тем мрачным моралистом, которого видела в нем публика. Такое впечатление, что ему бы понравилось прослыть циркачом — жонглером и словесным иллюзионистом, которым он сам себя считал — «удалым молодцом — гор-

достью Запада* в каком-то смысле, чьи остроты и шутки — чего на первый взгляд и не скажешь — касаются высоких материй.

2) Если необходимо провести поясняющую параллель (как он сам много раз довольно необычным способом советует в своем романе «Лесоповал»), то сделать это надо с его старшим собратом по перу Августом Стриндбергом, таким же скандальным хулителем, который построил свою драматургию — по крайней мере, отчасти — таким образом, чтобы по-сыновнему противостоять верховной философии Ибсена, на творчество которого, в свою очередь, повлияло его презрение к ограниченности мелкой буржуазии его родного городка Шиена. И что же увидим мы между строк этой тройной преемственности — бурной, богатой событиями и мгновенно реагирующей, — как не настоящий бунт, не до конца принятый и в разной степени осознанный, бунт против скрытого пурианства северных стран и, если так можно выразиться, пораженный язвой чопорного католицизма преднацистской Австрии?

И если существует еще один добрый дух, витающий над этой триадой легкоранимых, разочарованных писателей, отчаянно пытающихся выйти за рамки строгого детского воспитания, это, конечно, другой великий критик викторианской — столь близкой к скандинавской — морали, царившей в то время по всей Европе, а именно Фридрих Ницше, неугомонный и строптивый сын пастора-пиетиста, и будет уместным упомянуть, что Стриндберг был одним из первых, признавших его гений.

* Название пьесы ирландского драматурга Джона Синга, главный герой которой убил своего отца и стал местной знаменитостью.

А если отправиться еще дальше в прошлое, близость к Монтеню и Эразму Роттердамскому (гениальному саркастическому расточителю похвал святой вселенской глупости) усматривается сама собой.

3) Если Ибсен со своей стороны использовал только метод мудрого и вполне логичного спора с традиционной моралью, Стриндберг, а за ним и Бернхард, перешли к косвенным насмешкам, угнетающей самоиронии, обвиняющей неискренность, затем к мрачному паясничанию, переходящему иногда в угрюмый бред — инстинктивный и иррациональный метод, ошеломляющий для давно укоренившихся предрассудков.

Стриндберг:

Каково занятие: сидеть у себя в кабинете, драть шкуру со своих близких, а потом выставлять ее на продажу и предлагать им же ее купить! Это все равно, если бы проголодавшийся охотник отрезал у своей собаки хвост, съел мясо, а собаку угостил бы ее же собственными костями, шпионить за чужими секретами, выставлять напоказ родимое пятно лучшего друга, делать из жены подопытного кролика, подобно варвару все громить, убивать, осквернять, жечь и продавать, какой ужас!

Интервью Бернхарда Андре Мюллеру:

Мюллер. Меня удивляет, что вы так много пишете, хотя осознаете абсурдность жизни, и вы ею живете. В этом даже можно заподозрить нечестность.

Бернхард. Как можно это знать? Даже если это нечестность, это ничего бы не изменило. Совершенно неважно, каким словом это называется. Мы никогда не знаем, как в действительности рождаются

вещи. Просто садишься за стол и делаешь над собой усилие, которое превосходит твои реальные силы, а потом в один прекрасный день доходишь до конца.

Мюллер. Да, но что порождает это усилие? Если по пути от кровати до письменного стола тебя не оставляет мысль, что все это — все равно бессмысленно?

Бернхард. Просто я очень люблю писать. На прошлой неделе я был в Штутгарте, где смотрел пьесу Чехова «Три сестры», и сказал себе, что она могла быть моей, только у меня вышло бы гораздо лучше, гораздо более сжато, и мне тут же захотелось писать.

Здесь стоит отметить, что, хотя Бернхард интуитивно и чувствует гениальность Чехова и родство с его собственным мироощущением, он неверно оценивает его содержание, тесно связанное с этими длиннотами, которые он считает излишними. Во вторую очередь следует заметить, что при знакомстве с Чеховым (скрытым пессимистом), он внезапно испытывает этот позитивный импульс, побуждающий к творчеству. Таким образом, очевидно, что «отчаявшиеся» натуры вроде Бернхарда имеют очень мало внутренних суждений о себе самих, и их внешний нигилизм — всего лишь один из многочисленных вариантов интеллектуального боваризма, от которого закоренелые пессимисты защищены не более остальных.

4) Стриндберг и Бернхард одинаково бахвалятся репутацией разрушителей, веселых и аморальных анархистов-поджигателей.

Стриндберг:

Я разрушитель, ниспровергатель, поджигатель мира, и, когда мир обратится в прах, я, изголодавшийся, буду прохаживаться среди руин, счастливый,

что могу сказать: это я написал последнюю страницу мировой истории, действительно последнюю.

Бернхард:

Я уничтожитель историй, я уничтожитель типичных историй. Если в моих книгах вырисовывается какой-нибудь случай или я просто вижу, что вдалеке за холмом прозы проступает неясный контур истории, я убиваю ее.

По правде говоря, не следует ли нам считать эти заявления баухальством и фанфаронством маленьких мальчиков, истерзанных зачастую жестокой игрой жизни, которая не пощадила их в детстве и которые из-за отсутствия веры в самих себя и до конца невыясненных отношений с властным сексуальным влечением навсегда остались безоружными перед стратегической необходимостью жизни, — все это лишь для того, чтобы восстановить свое поруганное достоинство путем чрезмерных и преувеличенных поношений?

Чтобы лучше проиллюстрировать мое понимание этой тревоги, замаскированной у них под браваду, приведу короткие строки Андре де Риша*:

Чего же боится ребенок, напевая один в комнате в темноте? Впрочем, его страх уходит, стоит кому-то о нем позаботиться...

5) Известно, что Бернхард долгое время учился музыке, и его произведения наделены особой музыкальностью: длинный скучный рассказ, главное очарование которого в образцовом употреблении

* Андре де Риш (1907–1968) — французский поэт и писатель.

повторяющегося, навязчивого многословия, служащего основным ритмом, из которого льется поток назойливых и ослепительных вариаций на одну и ту же тему. Эта повторяющаяся музыка текущих реций, течения слов, подобная юмористически лирическому пению, влечет нас все дальше, словно печальное заклинание, в самую сердцевину горестного, тоскливого состояния души, удрученной чересчур прозаическим мироустройством. Опера-буфф с трагическим содержанием (если таковое возможно) только что начата под покровительством старинной австрийской восприимчивости, вечно увлеченной лирическим искусством. В стилистическом смысле о нем даже можно было бы сказать: Томас Бернхард, или тоска мира в форме лирической сцены.

6) Решительно невозможно (это означало бы предать его волю) принимать мнения Томаса Бернхарда всерьез: если он так нас очаровывает, то потому, что он сначала околдовал самого себя собственной назойливой просодией, которая словно ведет подспудную борьбу с тяжеловесностью германского духа, о чём он постоянно твердит и оплакивает даже в себе самом опустошение, уже осужденное Ницше.

В крайних предубеждениях и слишком явной неискренности Бернхарда таится некий забавный шутник, похожий на австрийского домовишка, вышедшего из недр горы к околице опрятной деревеньки, чтобы от души потешиться над глубокой, неискоренимой и нагоняющей тоску сплошенностю деревенских жителей в кожаных штанах, которые приготовились распевать тирольские песни.

Его речь несет в себе саморазрушительную тавтологию: она льется, уничтожая самое себя, старательно стирая за собой все следы. Значение имеет

лишь праздничное мгновение слова, которое без конца посвящает себя и поглощается одним и тем же почти беспринципным движением взад-вперед. Это вызывает воспоминание о веселом празднике языка, мимолетных всполохах вокруг великолепного риторического фейерверка.

7) Разглагольствования Бернхарда постоянно звучат лейтмотивом *memento mori**, центральная внутренняя ось любого словесного начинания: необходимо выстроить ничтожный заслон из слов, чтобы скрыть и в то же время бросить вызов неизбежному призраку, который маячит на горизонте. Речи и всяческие причуды его невероятной виртуозности напоминают вокализы Дон Жуана перед статуей командора, от которого он не ждет пощады. Томас Бернхард — это целомудренный Дон Жуан, который беспрестанно бросает вызов и играет с крайне суровым призраком неизбежной смерти, а по ходу ради удовольствия вводит в действие метафизический флирт, игривое дружеское сообщество с читателем.

Гофмансталь сказал:

У Моцарта все тяжелое парит, а все легкое давит.

8) Поль Валери сказал, что, когда мы имеем дело с кем-то, кто предстает перед нами целиком и чересчур ясно, нужно перевернуть карту, чтобы увидеть истинное лицо. Если применить это правило к Томасу Бернхарду, что мы увидим? Мы получим портрет великого романтика-идеалиста, просто-напросто разочарованного заурядностью социальной жизни, которая выпала ему на долю и над которой

* Помни о смерти (лат.).

витает тень великого венского расцвета, который тому предшествовал. Невозможно не выделить ту двойственность бернхардовской души, которая так ненавидит венскую жизнь только потому, что он мечтал прожить ее такой, какой она была рассказана ему в детстве — и от которой теперь осталась лишь бледная карикатурная тень для туристов, — отрывки, говорящие о его склонности просиживать в кафе и сравнивать разные столичные учреждения (страницы 113, 114 и 115 его романа «Племянник Витгенштейна»), явно свидетельствует об этой тоске по былому великолепию артистической и литературной жизни Вены. Да, если хорошо присмотреться, глубинная мотивация Бернхарда, вероятно, скрытая им самим, — это неискоренимая тоска по миру праздника, блестящему миру аристократии и игре, музыкальной и поверхностной, такой же жизнерадостной, как в фильмах Эрнста Любича и Макса Офюльса. Можно вполне серьезно задаться вопросом, не пожелал ли бы Томас Бернхард стать одним из персонажей «Лолы Монтес» или «Карусели»*.

9) Разве не создал Томас Бернхард новый жанр: крайний экспрессионистский романтизм? Если это так, гений его красноречия принес эту «манеру» — уже бывшую в зачаточном состоянии у авторов, которым он так или иначе наследовал, Карла Крауса, Музиля и Кафки, — высочайшего накала, добавляя все-таки эту музыку — заунывную, тосклившую и неотразимо комическую, в которой первые внесли вклад только австрийским юмором, шуткой.

С другой стороны, похоже, существует довольно типичный автор австрийской литературы, которо-

му Бернхард в относительно двойственной манере стремится противостоять из всех сил (особенно в своем романе «Помешательство», где он в каком-то смысле пародирует «Замок дураков»), и этот автор Адальберт Штифтер, художник и писатель мудрого, спокойного счастья, блаженного мелкобуржуазного постоянства, защитник образа жизни, ограниченного единственными горными деревушками, — такая жизнь оправдана близостью пропастей, куда можно легко свалиться, и дремучих лесов, где можно на всегда заблудиться... И отметим, что Штифтер покончил с собой (и он тоже) сравнительно молодым и против всякого ожидания, что в конечном счете притягательность душевных глубин заставила его отправиться на поиски уютного пристанища; тайная ниша в здании его творчества, которую Бернхард, вероятно, не преминул разглядеть.

Однако в своей знаменитой речи во время вручения премии в городе Бреме (возможно, самая замечательная речь, которую он когда-либо произнес) «С ясностью нарастает холод» Бернхард прозрачно выражает свою тоску по миру сказок:

Жить без волшебной сказки труднее, поэтому так и трудно жить в XX веке; двигаться вперед; к какой цели? Я знаю, что появился не из сказки и никогда не войду в сказку, это уже прогресс, и в этом разница между вчера и сегодня.

Чтобы понять, что нас так глубоко трогает в произведениях Бернхарда, следует быть очень внимательным к тому, что остается скрыто, возможно, даже от сознания самого автора, но которое чуткое ухо сможет уловить за напыщенностью слов. Людвиг Витгенштейн, дядя Пауля (друга Томаса из одноименной книги), часто говорил, что его философские труды —

* «Лола Монтес» (1955) и «Карусель» (1950) — скандально известные фильмы Макса Офюльса.

всего лишь видимая часть айсберга его мысли, что их целью было лишь основное, что должно остаться невысказанным, слишком утонченное, чтобы выставлять его под уничтожающий свет рационализма. Является ли эта индуктивная манера типично венской и, по меньшей мере, доказательством окончательной и ностальгической принадлежности Бернхарда к этому миру, отвращение к которому он проповедует?

10) Мне кажется, что к драматургии Томаса Бернхарда можно относиться не только как к символическому представлению, которое превращает сцену не в трехмерное пространство, а в некий экран, на котором поэт показывает свои мечты и внутренние образы, то, что исходит из самой глубины души, — в каком-то смысле фантасмагорический театр для своих личных кукол и великое искусство которого в том, чтобы увлечь нас душой и телом, чтобы заставить разделить его чувства.

11) В заключение следует выделить один повторяющийся элемент большинства романов и пьес Томаса Бернхарда, скромная небрежность, в основе которой лежит обычная сентиментальность.

Как это хорошо время от времени что-нибудь чувствовать, подумал я.

«Лесоповал»

Нам не нужно бояться время от времени быть сентиментальными, подумал я и увлекся мелодией «Болеро», и я целиком отдался этому «Болеро» и самому себе, а значит, и своим чувствам.

«Лесоповал»

Мне кажется, что, подойдя к этой точке, мы со-прикасаемся с главной чертой характера, которая

лежит в основе бернхардовского мировоззрения, а именно меланхолии, эстетствующей меланхолии, весьма типичной для Центральной Европы, залог угрюмого счастья от мрачного наслаждения, атмосферу которого так хорошо умеют создать поэты-романтики* (когда гроза их ожесточенности внезапно уляжется, а горькие обвинения превратятся в простую онтологическую неизлечимую грусть). Только тогда, после приступов ярости и досады, наступает момент, свободный от мук социального ада и мы слышим тихий голос поэта:

Меланхolia — чрезвычайно прекрасное состояние души. Я погружаюсь в нее с легкостью и охотой. В деревне, где я работаю, редко или никогда, но в городе немедленно. Для меня нет ничего красивее Вены и меланхолии, которая есть и всегда была моей в городе... Меланхolia — это люди, которых я знаю там двадцать лет... Это улицы Вены. Само собой разумеется, это атмосфера этого города учених. Это все те же фразы, которые люди говорят мне там, и, вероятно, те, что я говорю им, все вместе это составляет волшебное состояние меланхолии. Я часами сижу в парке или кафе. Меланхolia. Молодые писатели, которые уже не молоды, принадлежат моему прошлому. Вдруг замечаешь: вот один, который уже совсем непохож на молодого человека; он выдает себя за него — как, наверное, поступаю и я — хотя я не более молод, чем он. И со временем это усиливается, но становится чрезвычайно прекрасным.

«Заблуждения»

* Поэты-романтики, которых было в изобилии в бывшей Австро-Венгерской империи и о которых так замечательно пишет Клаудио Магрис в своем шедевре «Дунай». (Примеч. автора.)

ШОРОХ ШАГОВ ПО УМЕРШИМ ДУШАМ

Гений природы поведет тебя за руку в любые края; покажет тебе жизнь целиком; странную людскую суету, ты увидишь, как люди бродят, ищут, ушибаются, спешат, отгоняют, вырывают, толкают, бьют; ты увидишь нелепую возню человеческой толпы, но для тебя это будет все равно что смотреть в волшебный фонарь.

Иоганн Вольфганг Гёте

Сколько раз я пытался представить Реми де Гурмона в его квартире на шестом этаже по улице Сен-Пер в его монашеском одеянии, среди своих книг, безделушек, картин, кошек, как он сидит, вжаввшись в кресло, курит сигареты-самокрутки, на носу очки, на голове колпак, пишет или размышляет в одиночестве, в центре Парижа, и излучает мощный интеллектуальный магнетизм на несколько сотен просвещенных умов своей эпохи — это сообщество «чувствительных душ», по выражению его дорогого Стендоля (к которому, конечно, нужно прибавить горстку льстецов наших дней).

Мне действительно кажется, что Гурмон, как своим мышлением, так и образом жизни, своей неиссякаемой эрудицией, своим постоянным непрекращающимся любопытством (интересовавшийся, как сексуальностью насекомых, так ангелов и сатиров,

самыми странными происшествиями, мельчайшими событиями банальнейших будней, равно как и самыми туманными пророчествами самых рассудочных умов), был ярчайшим представителем тех, кого англичане называют *scholars*, вечных студентов, чья мысль одинаково пытлива, как в отношении мертвых, так и живых, и которые пытаются объединить тех и других, приписывая им плодотворную и доброжелательную дружбу вне времени.

Однако если в литературе и существует нечто чудесное, то это, конечно, родство и духовная близость, которые, вытекая друг из друга, влекут нас по длинной цепочке соединений.

Поэтому здесь я лишь предложу, по примеру мэтра, одну из особенных прогулок по вольным ассоциациям, с течением времени рожденным во мне регулярным чтением того, кого Джон Каупер Пауис* называл, сравнивая его с Гёте, «великим анархистом духа».

Для начала скажу, что я открыл Гурмона в юности и, что знаменательно, в одно время с Барбе д'Оревильи**, а их обоих через посредство Блеза Сандрара, которым я в то время зачитывался. Он называл их своими учителями в литературе, добавляя еще Шопенгауэра, собственно говоря, за ясность стиля. Однако известно не только огромное влияние последнего на мировоззрение Гурмона (это особенно видно в «Физике любви»), но также, глядя со стороны, можно понять, насколько, говоря о Барбе, они с Гурмоном были братьями по духу. Достаточно прочесть эссе, которое Гурмон посвятил Барбе, чтобы узнать, что в нем помимо духовной

* Джон Каупер Пауис (1872–1963) — британский писатель, философ, лектор.

** Жюль Амеде Барбе д'Оревильи (1808–1889) — французский писатель и публицист.

близости он находил своего рода «нормандизм» (по выражению из Словаря французского языка):

Народ, из которого он происходил, — самый нерелигиозный во Франции, хотя и больше других привержен внешним обычаям и традициям церкви. Здесь ясно видно влияние почвы и климата: у себя в стране датчане на протяжении веков усвоили мрачную религиозность, ограниченную темнотой их сознания; они несут веру в своем сердце, как крестьянин нес в подоле змею. Став нормандским, этот наивный народ осторожно и постепенно утратил веру. Не веря душой, он демонстрирует веру публичную и почти только светскую. Он тяготеет не столько к проповеди, сколько к церковной службе, которая является для него праздником. Он любит свои церкви, но равнодушен к священникам. Построив несколько красивейших аббатств и соборов Франции, этот народ позабыл снабдить их монахами и канониками, рентой и землями. Эти аббатства были пусты задолго до революции. Во время продажи имущества духовенства знать, еще менее религиозная, чем крестьяне, раскупила все без смущений и колебаний: верхушка общества первая подавала пример маловерия*.

Я цитирую этот отрывок целиком, потому что, как мне кажется, здесь сконцентрированы все главные тайны творчества Гурмона, и, таким образом, можно понять, что их корни уходят гораздо глубже, чем кажется, в коллективное бессознательное наших предков: аристократический элитаризм, католическое язычество, которое затем незаметно смешивается с консерваторским анархизмом и

* Барбе д'Оревильи. «Литературные прогулки». (Примеч. автора.)

беззастенчивым скептицизмом. Довольно забавно мимоходом отметить, что те же «саркастические жизнерадостные характеры», если можно так выразиться, встречаются у других крупных нормандских авторов: Флобера, Мопассана, Жана Лоррена и Барбе д'Оревильи.

Чтобы продолжить эту увлекательную игру родства и взаимного влияния авторов друг на друга, любопытно отметить, что Блез Сандрап, который бредил Гурмоном до такой степени, что ходил за ним по пятам, не решаясь подойти, во время его ежедневных прогулок по набережным Парижа, стал первооткрывателем и крестным отцом в литературе для Генри Миллера, который, в свою очередь, помимо прочих неравнозначных достоинств имел одно неоспоримое — он был великим и тонким любителем чтения (полагаю, «Книги в моей жизни» остается его лучшим произведением). Однако и сам Генри Миллер стал великим популяризатором в мире англосаксонской литературы для того, кого следует считать ангелом-хранителем европейской литературы XX века: Джона Каупера Пауиса, а если существует автор, на которого он оказал глубокое влияние, то это, несомненно, Реми де Гурмон. Одного текста — необходимого каждому поклоннику Гурмона! (издание существует пока, к сожалению, только на английском языке) — эссе, которого он посвятил ему в своей книге «*Suspended Judgments*», достаточно, чтобы в этом убедиться:

Достаточно прочесть несколько страниц Реми де Гурмона, чтобы вновь ощутить себя в просторном, широком, самостоятельном, свободном и прежде всего языческом мире великих античных авторов. Время, истекшее с той классической эпохи, перемены в манерах и форме речи, словно вдруг исчезают и

перестают иметь всякое значение. Здесь совершенно отсутствует современный тон, полный самосознания, мелочного желания казаться оригинальным и понравиться как можно большему числу людей, что так вредит стольким ярким писателям нашего времени. Кажется, будто кто-то из славных приятелей Платона — какой-нибудь мудрый и жизнерадостный афинянин, как Агафон, Федр или Хармид, — восстал из могилы средь голубых волн Ионического моря, чтобы побеседовать с нами под липами и капитанами Люксембургского сада о вечной иронии природы и человеческой жизни. Словно какой-нибудь друг-философ Катулла или Проперция вернулся после длительного отдыха в оливковых рощах Сирмио, чтобы прогуляться по берегам Сены или среди книжных лавочек квартала Одеон. Во время чтения этого великого языческого критика никакой туман, никакая завеса гиперборейских суеверий, раздутых подобно отвратительному густому облаку, не заслоняют горячий лик солнца. Здесь снова и снова смело и ярко проступает все постоянное и интересное той безумной и сложной комедии, которой является человеческая жизнь.

Художники, романисты, поэты, журналисты, оккультисты, эксцентрики, эссеисты, ученые и даже теологи, все описаны с юмористическим, увлеченным любопытством, отмеченным глубоким сознанием разнообразия форм жизни, что ассоциируется у нас с классической традицией.

Подобный автор мог появиться только во Франции, ибо среди всех наций только Франция и среди других городов нашего современного мира только Париж сохранили прочную связь с «открытой тайной» великих цивилизаций.

Для меня очевидно, что Гурмон представляет одну из квинтэссенций французского остроумия,

что роднит его не только со славной плеядой французских моралистов, от Ларошфуко до Анатоля Франса, а также Паскалем, Лабрюйером, Шамфором, Вовенаргом, Вольтером, Диодро и Риваролем, но и определяет ему видное место среди европейских авторов, писавших в том же духе: его часто сравнивали с Эразмом Роттердамским, а также известно, какое значение для него имели Леопарди, Шопенгауэр и Ницше*.

Однако одной из самых выдающихся заслуг де Гурмона — которая явно характеризует его чрезвычайно проницательным защитником здравого смысла — является его «меркурианская» способность проникнуть в суть самых заумных домыслов, чтобы привести к мысли более непосредственной или, попросту говоря, к житейской мудрости. Благодаря своему энциклопедическому уму он не только интересовался (как свидетельствуют его знаменитые диссоциации) самыми приземленными видами человеческой деятельности, но также был способен уместно критиковать, зачастую с жестокой насмешкой, самых рассудочных знаменитых мыслителей. К примеру, его эссе о Канте (в главе «Мысли и пейзажи» его «Философских прогулок») — образец едкой синтетической критики.

Всякий раз, когда мы хотим применить общую логику, чтобы объяснить конкретные факты, конституированные нашими чувствами, выходит нелепость. Зачем же тогда нужна общая логика? Быть может, только для извращения интеллекта?

* Все же здесь кроется какая-то тайна (даже Тьерри Жиллибёф, главный специалист по Реми де Гурмону, задает себе этот вопрос!): почему Гурмон никогда не упоминает Монтеня, с которым у него тем не менее много общего? Читал ли он его? (Примеч. автора.)

Если она не мерило, то, может быть, проводник, нить? Ни в коей мере. Она служит лишь для того, чтобы постепенно внушать мозгу нелепую идею: это так, потому что это должно быть так. Кант никогда не рассуждал иначе. Это была отменная машина для толчения воды в ступе. Подумать только, что этот человек, не имевший ни жены, ни любовницы и, как говорят, умерший девственником, живший чисто механической жизнью, имел дерзость рассуждать о нравах! Зато как прекрасно заглавие его книги: «Метафизика нравов»! И ему ничуть не уступают его афоризмы:

«То, что мы должны сделать, единственная вещь, в которой мы уверены».

Но как можно быть уверенным в том, что ты должен сделать, не изучив всех обстоятельств, по мере того, как они возникают. Чем по сути является эта обязанность? Чистейшей теологией.

Его способность абстрагироваться естественным образом сближает его с таким удивительным и своеобразным мыслителем, его современником Жюлем де Готье, чью значимость он один из немногих, наряду с Виктором Сегаленом* и Бенжаменом Фонданом**, сумел почувствовать и кого считал замечательным хулителем иудейско-христианского конформизма (реформистского повиновения), почитаемого в интеллектуальных кругах тех лет и с которым он сам боролся с пылом, не лишенным прозорливой сдержанности. Гурмон действительно осознал все значение удивительного ключа к человеческой психике, движущего любыми поступками, который опреде-

* Виктор Сегален (1878–1919) — французский поэт позднего символизма.

** Бенжамен Фондан (1898–1944) — французский писатель, мыслитель-эссеист.

ляется термином «боваризм», и можно сказать, что его саркастическое восприятие спекулятивных разглагольствований (в том числе и его собственных) целиком происходит из этого юмористического и непринужденного взгляда на человеческую жизнь, как интеллектуальную, так и чувственную. Редко бывает, чтобы Гурмон не завершил какого-нибудь научного или философского рассуждения элегантным пи्रэтом открытого скептицизма, что мне представляется одним из элементарных принципов осторожности — да вдохновит его пример интеллектуалов и прочих «великих умов» молодого XXI века!

Демозон. Разумеется. Искусство, игра, алкоголь, танец, спорт, все это вещи одного порядка. Делить удовольствия на материальные и интеллектуальные — забава для схоластов. Человек — это лишенная корней чувствительность, высохшая и гибнувшая, как срезанные цветы, у которых не меняют воду в вазе, где они умирают, открывая свое сердце и благоухая ароматом своей души.

Деларю. Все это не совсем понятно.

Демозон. Мой дорогой друг, не получается говорить понятно, когда отвлеченно рассуждаешь об общеизвестных истинах. Люди говорят при помощи ума, я хочу говорить с помощью чувств. Это очень сложно. Розы, лилии, гвоздики, фиалки, все это цветы, и они очень разные. Выслушайте их и сожгите по отдельности, вы получите четыре кучки пепла, одинаковых с виду и по составу. Человеческие умы это тоже кучки пепла, в них индивидуальность и различие. Сводить все только к уму, значит, обращать все в пепел. Два математика, говорящих о математике, прекрасно понимают друг друга: они воплощенный ум. Двое любовников, говорящих о любви, вовсе не понимают друг друга: они воплощенное чувство.

Д е л а р ю. Однако любовники, которые обожают друг друга...

Д е м е з о н. Они обожают друг друга, растворяются друг в друге, плачут или кричат вместе, но они друг друга не понимают. Чувства созданы не для того, чтобы понимать, а затем, чтобы чувствовать. В миг, когда они начинают понимать друг друга, они перестают быть любовниками. Как только они становятся любовниками, они проникают друг в друга и перестают друг друга понимать. Любовь также относится к изящным искусствам.

Д е л а р ю. Вы хотите сказать, что искусство создано, чтобы чувствовать, а не понимать?

Д е м е з о н. Мне так кажется. Ведь каждый раз, когда мы говорим об искусстве умом, то произносим одни глупости. Вы видите хоровод самых малопонятных слов, самых избитых истин, давно известных или чересчур верных, или же это настолько банальные и туманные обобщения, что слушатель поймет в них то, что захочет, если он снисходителен, или не поймет ничего, если упрям. Я упрям. Я не люблю слов, в которые неловкие фокусники якобы вкладывают какой-то смысл: «Разломите апельсин и в нем найдете свое кольцо». Я разламываю, а внутри ничего. Фокус провалился*.

Как можно убедиться, естественная склонность порассуждать о самых высоких материях у Гурмона всегда сдерживается, сводится к более приземленному и человеческому, к обыденной жизни. Именно с такой меркой стоит подходить к его дружбе с писателем Полем Леото, потому что тот был полной противоположностью Жюлю де Готье. С одной стороны, самые абстрактные и возвышенные рассуж-

* Реми де Гурмон. «Разговор дилетантов о приметах времени». (Примеч. автора.)

дения, с другой — радикальный и очистительный здравый смысл, очень скромный на слова и для которого всякие разглагольствования, слишком оторванные от близкой реальности или очень далекие от простой очевидности, становятся объектом сарказмов и самых язвительных насмешливых поучений. Однако оказалось, что за долгие годы между ними установилась искренняя дружба и взаимное восхищение. Хотя Леото ни в малейшей степени не может и не хочет постичь тонкость идей Гурмона (и тем более Готье), он восхищается его стилем, лаконичностью*, ясностью и постоянной иронией. Со своей стороны Гурмону неизбежно необходим непринужденный и разумно приземленный взгляд Леото. Для него он настоящее средство, ограждающее от слишком бурных порывов духа абстрактного. Есть в этой дружбе отличная взаимодополнимость, скрытое донкихотство то и дело укрошающееся реализмом Санчо Пансы и закоренелое диогенство язвительного секретаря «Меркурий де Франс», которого он ежедневно встречал в кабинете Альфреда Валетта**.

Гурмон решительно не любит животных, особенно собак, которые, по его словам, — как он объяснял нам до того, как у меня появилась собака, — «презрены, угодливы, неблагородны из-за их послушания, привязанности, верности и т. д.». Одним словом, в них нет ничего ницшеанского. Вчера вечером Друг

* Мимоходом замечу, что знаю лишь одного писателя, которого можно сравнить с Гурмоном по выразительной лаконичности, Хорхе Луиса Борхеса, и, по всей вероятности — если верить Тьерри Жиллибёфу, — Борхес много читал Гурмона. (Примеч. автора.)

** Альфред Валетт (1858—1935) — французский писатель, основатель литературного журнала «Меркурий де Франс».

[кличка собаки Леото] вертесся около него в моем кабинете, и Гурмон строил жуткие гримасы, ерзал на месте и, наконец, встал и направился в кабинет Валетта, бормоча себе под нос «Черт побери»*.

Несмотря на преувеличения и явное недружелюбие Леото относительно этой черты характера (Гурмон любил кошек и посвятил этим животным замечательные строки), остроумное замечание по поводу ницшеанства бьет прямо в цель и исподтишка критикует абстрактное мышление, а такой метод стоит того, чтобы на нем остановиться подробнее; весьма вероятно, что сам Гурмон (следуя примеру Поля Валери) любил подобные возвращения к сиюминутной реальности, на которые Леото никогда не скучился.

Я продолжаю свое исследование, свою очень субъективную «прогулку» по гурмоновскому созвездию, и еще одно имя странным образом всплывает в моей голове: Байрон. Я догадываюсь, что такой активно-прагматичный романтизм — говорят, англичане мечтают с открытыми глазами, — бесконечные перемещения от высших духовных сфер к самым тривиальным (и наиболее неизбежным), характеризующим здоровую, спортивную погоню лорда Байрона за ощущениями, восхищал затворника и стреноженного фавна Гурмона.

Так случилось, что недавно я открыл еще одного из этих эрудированных писателей-проводников, тоже в наше время почти забытого, Фредерика Прокоша, который шутки ради написал поддельный дневник Байрона под названием «Рукопись из Миссолонги» и который также был читателем и поклонником Реми де Гурмона. Однако, перечитывая

* Поль Леото. «Дневник», 1 апреля 1909 г. (Примеч. автора.)

отрывок из вышеупомянутой книги с описанием воображаемой беседы Байрона с двумя его поклонниками, я замечаю, что в ней содержится самая суть того, что я называю скрытой гурмоновской философией. Случайность ли это?

Финлей спросил меня:

— Не думаете ли вы, сэр, что у поэта есть обязательства перед обществом? Если поэт проповедует порок, может ли он оставаться поэтом?

— Платон в своем высокомерии (а, может, это больше предательство, чем высокомерие) исключил поэта из идеальной республики, — ответил я. — Он считал его зачинщиком смуты, силой, ведущей к анархии и упадку. Слепец Платон! Разве не видел он, что только возбуждающая анархия поэта может спасти общество, не дать ему быть задушенным догмами и учеными?

— Вы ненавидите ученых, сэр? — слегка скривившись, пробормотал Фоук.

— Не люблю и не ненавижу. Конечно, они принесли нам какую-то пользу. Но через пятьсот лет, когда Homo sapiens пожнет плоды науки, а ум индивидуума задохнется от догм, настанет конец. Всякий смысл жизни исчезнет. Такое случилось с другими животными, потерявшими свой огонь. То же случится и с человеком, когда в нем раздавят всякую любовь к жизни. Он будет желать лишь смерти, и род человеческий, размножившись сверх разумных пределов, с опущенной головой ринется уничтожать самого себя.

— Вы говорили об упадке, сэр, — заметил Финлей. — А что такое упадок?

— Это такой же естественный феномен, как сливы, что гниют в садах. В упадке есть хорошие стороны, как в осени есть красота. Поэт, безразличный к догмам и людям науки, видит то, чего они видеть не

могут: тайный источник жизни. Именно так я понимаю суть слов «Сила проницательности поэта». Наши *zeitgebundene** нравственные принципы не имеют ничего общего ни с истиной, ни с поэзией. Поэт обращается к Вечности: взгляды нашего общества живут лишь десятилетие... и какое печальное, какое унизительное десятилетие!

— Все это слишком тревожно и слишком противоречиво, — с грустью заявил Фоук.

Я наполнил бокал.

— Забудьте то, что я сейчас сказал, — пробормотал я. — Надеюсь, вы будете столь любезны, что не станете повторять это в Бостоне. А теперь, дорогой Финлей, расскажите еще о господине Гёте. Носит ли он перчатки? Имеет ли он привычку оценивать? Хорошо ли скроены его панталоны? Ходит ли он на прогулку с зонтиком?

По правде говоря, прочная привязанность Гурмана к некоторым научным теориям кажется мне его единственной эстетической слабостью; однако следует помнить, что научный идеал, который его поддерживал (а иногда восхищал), был близок к идеалу Гёте, Александра фон Гумбольдта или, скажем, книге «Введение в изучение экспериментальной медицины» Клода Бернара, а также Пастера, Дарвина и Огюста Конта. Идеал науки грезился ему духом уточнения и проверки, однако странно, что он, автор изречения «бесконечные удовольствия логики» (которое предвосхищает современную теорию познания), он, почитатель Жюля де Готье («Путем практического применения своих достижений наука открывает в социальной жизни такой простор для развития промышленности, техники и торгов-

* Ограниченные во времени (нем.).

ли, а также всевозможного стремления к выгоде, что под видом улучшения жизни она скрывает угрозу осушить источники радости»*), мог множество раз, не впадая в рациональный мистицизм, подписаться под тем, что в остальное время его философия высмеивала. Никто, однако, не совершенен, и именно в этом еще одна прелест Гурмана: в его способности мириться с противоречиями, в чем он является истинным мудрецом; не состоит ли истинная мудрость в том, чтобы с долей самоиронии принимать наши боваристские иллюзии?

А впрочем, чтобы немедленно оправдать его же собственными словами это научно-боваристское заблуждение, не нужно далеко ходить, достаточно процитировать два отрывка из «Диалога любителей», из которых понятно, что с таким скептицизмом осужденное выше стремление к выгоде еще далеко от возможности «осушить источник радости»:

Горстка человеческих знаний стала большой горой, но по ней ползают все те же муравьи. Галереи стали длиннее и все чаще сообщаются между собой, но шире и выше они не стали, в них все та же ночь.

Через несколько страниц он приводит великолепную цитату из Фонтенеля**:

«Людям следовало бы запретить говорить о затмении, — сказала маркиза, — из страха, как бы им не припомнились все глупости, сказанные на эту тему». — «В таком случае, — возразил я, — следовало бы запретить вообще о чем-либо вспоминать и всякие раз-

* Цитирую по памяти (из «От Канта до Ницше»).
(Примеч. автора.)

** Бернар Ле Бовье де Фонтенель (1657–1757) — французский писатель и ученый.

говоры о чем бы то ни было, ибо я не знаю ни одной вещи в мире, которая не была бы памятником какой-нибудь человеческой глупости».

Какой бы ни была «научность» Гурмона, теперь мне хочется сказать пару слов о некоторых аспектах его философии, благодаря которым он особенно дорог мне: прежде всего его утонченная и искусная защита язычества вопреки традиционному католичеству и, как следствие, его решительное сопротивление протестантству. Но сначала процитируем два отрывка из «Культуры идей», сдержанность и тактическая двойственность которых кажутся более глубокими и цивилизованными, чем пылкое исповедание атеизма некоего Мишеля Онфре*:

Религия — это очень сложный комплекс основанных на суеверии обрядов, с помощью которых человек добивается благосклонности божества. Такие системы невозможно изменить к лучшему, их нужно либо принимать такими, какими их создали предыдущие поколения, либо решительно их отвергать. Самые древние — наилучшие среди них; большая нелепость — хотеть сделать детские игры осмысленными, и величайшая глупость — хотеть усовершенствовать религию. Игры под наблюдением шутника-учителя остаются все теми же играми, хотя и не такими забавными; реформированные религии остаются религиями, но лишенными своей детской прелести.

(...)

Если не принимать во внимание ее кратковременные и локальные формы, можно сказать, что во все времена существовала только одна религия, религия народная, вечная и незыблемая, как человеческое чув-

ство. Что изменилось, так это религиозный дух, то есть манера объяснять или отрицать символы. Но это происходит в головах, которые не нуждаются в религии, потому что они ее обсуждают. Истинная религия — предмет веры, а не ученых споров. Она предмет для испытаний, а не исторических и философских демонстраций. Оставили ли хромые паломники свои костили в Эфесе или в Лурде? Очевидцы не задавались таким вопросом. Всякое понятие правды должно быть отринято религиозным учением, даже правды относительной. Полезная религия живет, бесполезная умирает. Настоящая религия является некой формой терапии, но она идет дальше и исцеляет болезни более непонятные с помощью средств более наивных, чем естественная медицина. Она врачует даже смутное волнение бесхитростных душ, и это прекрасно. Для нее хороши любые средства, допустим; но то, что приносит пользу человеку, не нанося вреда остальным, не может быть плохо.

Далее следует его концепция искусства и успеха. В эссе, озаглавленном «Успех и понятие красоты» (включенного в сборник «Бархатный путь»), он противопоставляет, с точностью, полной скрытой иронии к вечным стенаниям «непонятых», силу и непоколебимость народного мифа об успехе, как критерия значимости, хрупкости и двойственности эстетической красоты, которая в конечном счете не что иное, как опознавательный знак касты изысканных — которым следовало бы ограничиться удовольствием ценить друг друга и запретить себе без конца поглядывать на более известных личностей — вечная комедия, которую каждая новая эпоха повторяет на свой лад и которая всегда будет лакомым кусочком для сатирика. Такое аристократическое, без малейшего презрения, попросту трез-

* Мишель Онфре (р. 1959) — французский философ и писатель.

вое суждение было свойственно Барбе д'Оревильи, Вилье де Лиль-Адану* (хорошо известно его влияние на литературное творчество Гурмона) и Жюлю де Готье, который в свою очередь противопоставлял меньшинство созерцателей большинству деятелей (те и другие держатся вместе благодаря синergии их механической пары, вращающей колесо мира...); но послушаем этот иронический отрывок, в котором столько здравого смысла:

Цель искусства — нравиться, а успех — по меньшей мере первое доказательство в пользу произведения. Нравиться, идея довольно сложная; ниже мы увидим, в чем ее содержание; однако слово уже может предварительно послужить. Итак, это произведение нравится. Из восторженных интонаций толпы выросла целая башня. Такова реальность. Нужно ее разрушить. Это не так-то просто, поскольку благодаря какой-то необычной магии почти все тараны, которыми по ней бьют, превращаются в контрфорсы, добавляя ей устойчивости своим весом. Нужно доказать этой цитадели, что ее не существует, а этой толпе, что она не расшатала все ее камни, что она лживы, одержимы бесами или глупы. Подобное невозможно. Они считают ее прекрасной. И что же им отвечать, кроме как: да, это прекрасно.

И далее такое резюме «научной» точности (как он определял его смысл):

В итоге, то что каста (эстетов) зовет красотой, народ называет успехом; но он перенял у аристократов это слово, которое для него лишено смысла, и он

пользуется им, чтобы повысить качество своих удовольствий. Это не так уж необоснованно, красота и успех имеют одинаковый источник в чувствах. Разница между ними лишь в разнице нервных систем, и эти различия стали заметней. А впрочем, немногие люди способны на подлинное эстетическое чувство, большинство тех, кто его испытывает, лишь повинуется совсем как народ приказам хозяина, велениям воспоминаний, влияниям среды или моды. Существует случайная красота, столь же недолговечная, как успех увлечения. Произведение искусства, расхваленное кастой сегодняшней, будет презирало кастой завтрашней; от него останется меньше, чем от произведения, брошенного кастой, но воспетого народом. Ибо успех — это явление, чья значимость растет вместе с пылью, которую он поднимает, с числом сторонников, которые пришли и составляют его кортеж. Чувства касты и чувства народа имеют одинаковый результат; природа, не совершающая скачков, не делает выбора. Речь идет о создании детей. Обоняние (или другое аналогичное чувство) павлиноглазки грушевой развито настолько, что женская куколка этой редкой бабочки притягивает целую уйму самцов туда, где накануне их не было и в помине. Подобная острота чувств была бы нелепа, если бы не помогала павлиноглазке выбирать самую вкусную пыльцу среди массы цветов или каким-то образом получать большее наслаждение и развиваться духовно, совершенствовать культуру своего разума. Она помогает павлиноглазке лучше заниматься любовью; это ее эстетическое чувство.

И наконец, на третьем месте его ниспровергающий взгляд на образование и так называемое знание. Именно здесь он заодно с Жюлем де Готье и Анатолем Франсом поднимается до восхитительной

* Огюст Вилье де Лиль-Адан (1838–1889) — французский писатель, граф.

проницательности суждения. Мнение Гурмона об этом предмете в эпоху, когда свирепствует экзальтированное поклонение перед обязательным государственным образованием, неизбежно вызвало бы громкий скандал (и даже законное преследование за подстрекательство молодежи к уклонению), а потому я упоминаю здесь о нем с трепетом... На мой взгляд, это мнение может быть выражено следующим афоризмом, который на разные лады повторяется в его книге:

Обучая глупца, вы увеличиваете его глупость.

Ну а если конкретно, то вот что он говорит в замечательном отрывке из эссе «Важность образования» (из того же шедевра, каковым является сборник «Бархатный путь»):

...его [образование] характеризует единственный термин: абстрактность. В конечном итоге в преподавательских кругах пришли к выводу, что жизнь признается только в устной форме. Будь то поэзия или география, метод один и тот же: рассуждение, вкратце излагающее предмет, которое якобы его истолковывает. В конце концов, образование превратилось в методический набор слов, и классификация подменяет знание.

Самый умный и энергичный человек способен усвоить лишь малую толику прямых и точных понятий; и, однако, именно такие понятия действительно глубоки. Обучение дает лишь образование, знание дает жизнь. У образования имеется хотя бы то преимущество, что оно представляет собой обобщенное, сублинированное знание и может в малом объеме содержать большое число понятий. Однако внутри большинства умов эта пища не приносит пользы и

не переваривается. То, что мы называем общей культурой, зачастую лишь комплекс чисто абстрактных мнемонических знаний, которые наш ум неспособен проецировать в реальную жизнь. Без очень живого и активного во всех смыслах воображения понятия, вверенные памяти, высыхают на безжизненной почве. Чтобы зерна проросли, необходима вода, которая их напитает, и солнце, которое поможет созреть.

Лучше не знать, чем знать плохо или мало, что, в сущности, одно и то же. Но известно ли нам, что такое неведение?

Читая этот отрывок, столь непочтительный по отношению к государственному образованию и к мифу об улучшении человеческой природы через знание, можно лишь вновь подивиться тому, что Гурмон ни разу не упоминает «Апологию Раймунда Сабундского», где Монтень защищает эту позицию с бесподобной виртуозностью:

Но когда бывало такое, чтобы наука, как о ней говорят, смягчала и уменьшала горечь преследующих нас неудач, что она может сделать такого, чего не сделало бы гораздо лучше невежество?*

Этот городской отшельник, обреченный на заточение из-за своего уродства и который из своего духовного убежища царил в мире далеких образов и идей, парадоксальным образом восхвалял бурный мир природы, равно как и движущее миром дикое язычество. Мне приятно знать, что в конце жизни он снова познал любовь (пусть и платоническую, но для людей с богатым воображением этого достаточно, если не предпочтительнее...) и что эта любовь

* Цитирую по памяти. (Примеч. автора.)

побудила его совершить последнее большое путешествие на пароходе по Сене в обществе его дорогой «амазонки»*. (И я тем более рад узнать, что они отправились посетить другого великого «собирателя идей», своего современника, еще одного замечательного *scholar*, которым был Морис Метерлинк.)

В заключение Натали Клиффорд Барни прекрасно резюмирует эту последнюю эскападу:

Слишком увечный телом, чтобы предаваться удовольствиям, слишком здравомыслящий, чтобы обладать честолюбием, водная прогулка в компании с амazonкой была для него благотворной.

И дальше:

Обезображеный плотью, бунтующий против Бога, сопротивляющийся всякой вере, он наконец нашел компромисс между любовью и религией в дружбе — этой религии духовной близости.

С удовольствием представляешь то высшее наслаждение, которым стало для старого потрепанного сатира это путешествие по Сене к берегам родной Нормандии в сопровождении полубогини, парижской Афины, которая, похоже, как хорошо его понимала и умела ценить по достоинству. Иногда в минуты щедрости жизнь делает такие замечательные подарки.

В заключение я последую примеру Джона Каупера Пауиса и процитирую стихотворение Гурмонна «Опавшие листья», ибо главное, чем сегодня делятся с нами Реми де Гурмон (я имею в виду нас,

его немногочисленных почитателей), — это талант и усидчивое внимание, с которыми он сумел нам напомнить о богатстве нашей меланхолической латинской цивилизации.

Симона, любишь ли ты шорох шагов по опавшей листве?
Он подобен шуршанию крыльев и женского платья.
Симона, любишь ли ты шорох шагов по опавшей листве?
Однажды мы станем несчастной опавшей листвой,
Идем же, ветер нас гонит, и ночь на дворе,
Симона, любишь ли ты шорох шагов по опавшей листве?

Однако на протяжении лет, что повторяю эти строки, я понимаю, что последняя строфа изменилась в моем подсознании. Если задуматься о причине этого, то, кажется, я понимаю, что эта невольная замена (разве не так же всегда воздействует на нас магия чтения?) незаметно для меня создала прекрасный синтез моей возвышенной любви и вневременной дружбы к отшельнику-язычнику с улицы Сен-Пер. И мне чудится, будто его дорогой призрак шепчет мне на ухо:

«Дени, любишь ли ты шорох шагов по умершим душам?»

* Имеется в виду Натали Клиффорд Барни (1876–1972) — французская писательница американского происхождения.

Дени Грозданович

ИСКУССТВО
ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ

Редакторы А.А. Буряк, Н.О. Хотинская

Г86 Грозанович Д.

Искусство почти ничего не делать / Дени Грозданович; пер. с фр. О. Чураковой. — Москва: Текст, 2013. — 285[3] с. — (Искусство).

ISBN 978-5-7516-1149-1

Как удержать и продлить очарование настоящей минуты? Как вырваться из круговорота дел и оглядеться вокруг? Как почувствовать поэзию окружающего мира и бросить вызов ускользающей вечности? Жить, подчиняясь собственному ритму. Наслаждаться бескорыстной игрой ради удовольствия, а не ради победы. Читать забытых авторов, черпая из книг крупицы мудрости. Обо всем этом тонко и с юмором рассуждает французский писатель Дени Грозданович в своей книге, посвященной искусству созерцания и философии, искусству жить в согласии с самим собой.

УДК 821.133.1

ББК 84(4Фр)

Подписано в печать 20.03.13. Формат 84 x 108/2.

Усл. печ. л. 15,12. Уч.-изд. л. 12,16.

Тираж 2000 экз. Изд. № 1142.

Заказ № К-10971

Издательство «Текст»

127299 Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 7/1

Тел./факс: (499) 150-04-82

E-mail: textpubl@yandex.ru

<http://www.textpubl.ru>

Отпечатано в ГУП Чувашской Республики
“ИПК “Чувашия” Мининформполитики Чувашии,
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковleva, 13.